

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ИДИОТ

Федор Достоевский

Идиот

«Public Domain»

1869

Достоевский Ф. М.

Идиот / Ф. М. Достоевский — «Public Domain», 1869

ISBN 5-17-021180-7

«Идиот». Роман, в котором творческие принципы Достоевского воплощаются в полной мере, а удивительное владение сюжетом достигает подлинного расцвета. Яркая и почти болезненно талантливая история несчастного князя Мышкина, неистового Парфена Рогожина и отчаявшейся Настасьи Филипповны, много раз экранизированная и поставленная на сцене, и сейчас завораживает читателя...

ISBN 5-17-021180-7

© Достоевский Ф. М., 1869

© Public Domain, 1869

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	12
III	18
IV	26
V	35
VI	45
VII	51
VIII	59
IX	67
X	73
XI	77
XII	82
XIII	88
XIV	95
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Часть первая

I

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня избывшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частию от нечего делать, и, наконец, спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

– Зябко?

И повел плечами.

– Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью, – и заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

– Из-за границы, что ль?

– Да, из Швейцарии.

– Фью! Эх ведь вас!..

Черноволосый присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или Виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

– Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, – язвительно заметил черномазый.

– Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорюзлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, – истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил швейцарский пациент, тихим и примиряющим голосом, – конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да два почти года там на свой счет содержал.

– Что ж, некому платить, что ли, было? – спросил черномазый.

– Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

– Куда же приехали-то?

– То есть где останавлиюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

– Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

– И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? – спросил черномазый.

– Об заклад готов биться, что так, – подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, – и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

– Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, – продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал наконец смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), – и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но... если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от излишка воображения.

– О, вы угадали опять, – подхватил белокурый молодой человек, – ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, несколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

– Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм... по крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

– Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, – и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно понимать, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то? с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д., и т. д., и все в этом роде. Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.

– А позвольте, с кем имею честь... – обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

– Князь Лев Николаевич Мышкин, – отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

– Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, – отвечал в раздумье чиновник, – то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.

– О, еще бы! – тотчас же ответил князь, – князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

– Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, – захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур.

– А представьте, я совсем не думая сказал, – пояснил он наконец в удивлении.

– Да уж понятно-с, понятно-с, – весело поддакнул чиновник.

– А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? – спросил вдруг черномазый.

– Да... учился...

– А я вот ничему никогда не обучался.

– Да ведь и я так кой-чему только, – прибавил князь, чуть не в извинение. – Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

– Рогожиных знаете? – быстро спросил черномазый.

– Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

– Да, я Рогожин, Парфен.

– Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных... – начал было с усиленною важностью чиновник.

– Да, тех, тех самых, – быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

– Да... как же это? – удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, – это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помер и два с половиной миллиона капиталу оставил?

– А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капиталу оставил? – перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. – Ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать ни денег, ни уведомления, – ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.

– А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о господи! – всплеснул руками чиновник.

– Ну чего ему, скажите пожалуйста! – раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, – ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

– И буду, и буду ходить.

– Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

– И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

– Тьфу тебя! – сплюнул черномазый. – Пять недель назад я, вот как и вы, – обратился он к князю, – с одним узелком от родителя во Псков убежал к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помер. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

– Вы его чем-нибудь рассердили? – отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дышать не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.

– Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, – отвечал Рогожин, – но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испугалась, да не распечатывая в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, все отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «Они, дескать, эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! – обратился он к чиновнику. – Как по закону: святотатство?

– Святотатство! Святотатство! – тотчас же поддакнул чиновник.

– За это в Сибирь?

– В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!

– Они всё думают, что я еще болен, – продолжал Рогожин князю, – а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду; отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.

– Чрез Настасью Филипповну? – подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.

– Да ведь не знаешь! – крикнул на него в нетерпении Рогожин.

– Ан и знаю! – победоносно отвечал чиновник.

– Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! – продолжал он князю.

– Ан, может, и знаю-с! – тормошился чиновник. – Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что, коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие...

– Эге! Да ты вот что! – действительно удивился наконец Рогожин. – Тьфу черт, да ведь он и впрямь знает.

– Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть, все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.

– Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым... – злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.

– Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! – спохватился и заторопился поскорее чиновник, – н-никакими то есть деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: «вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна», да и только, а насчет дальнейшего – ничего! Потому что и нет ничего.

– Это вот всё так и есть, – мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, – то же мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегоднейшей отцовской бекеше через Невский перебежал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первейшей красавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа, убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентных билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться.

Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, эдак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина», говорит Залёжев, «вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «Всё равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде, и завитой, румяный, галстук клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «Ведь уж все равно», и как окаянный воротился домой.

– Эх! Ух! – кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, – а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, – кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.

– «Сживывал»! – переговорил Рогожин. – Ты что знаешь? Тотчас, – продолжал он князю, – про всё узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семёныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал, да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святыми зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.

– Ну-с, ну-с, теперь запоем у нас Настасья Филипповна! – потирая руки, хихикал чиновник, – теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим...

– А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, – вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.

– А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел... А вот и приехали!

Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.

– Ишь, и Залёжев тут! – пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю: – Князь, не известно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в эдакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую; фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью и... поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?

– Внимайте, князь Лев Николаевич! – внушительно и торжественно подхватил Лебедев. – Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..

Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:

– С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

– Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

– Будут, будут, – подхватил чиновник, – к вечеру до зари еще будут!

– А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

– Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.

– Ну, коли так, – воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!

– И таких господь бог любит, – подхватил чиновник.

– А ты ступай за мной, строка, – сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, – до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.

II

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин – человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые, очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным» и – куда не идет век? – даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется, во всяком случае «тузового». Но все было впереди, время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается *истинная* жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства, – все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.

Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ, – правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного

взгляда надо было, – не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых годах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и осваиваться.

В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери – Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданным не малым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, – все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга, и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола – младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя.

Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самую приемную, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену.

– Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, – проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.

– Если позволите, – сказал князь, – я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?

– В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?

Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его.

– Да, у меня дело... – начал было князь.

– Я вас не спрашиваю, какое именно дело, – мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду.

Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд всedневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по *делам*, иногда даже очень

разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.

– Да вы точно... из-за границы? – как-то невольно спросил он наконец – и сбился; он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»

– Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить: точно ли я князь Мышкин? да не спросили из вежливости.

– Гм... – промычал удивленный лакей.

– Уверю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.

– Гм. Я опасюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно узнать?

– О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.

– Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь... компанейский.

– Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.

– По-ку-рить? – с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще не веря ушам, – покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе... чудно-с!

– О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно и, знаете, есть пословица: в чужой монастырь...

– Ну как я об вас об таком доложу? – пробормотал почти невольно камердинер. – Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится... Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? – прибавил он, еще раз наклонившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.

– Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал и больше ничего.

– Как? Познакомиться? – с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер. – Как же вы сказали сперва, что по делу?

– О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так только совета спросить, но я, главное, чтоб откомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и, кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.

– Так вы еще и родственник? – встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.

– И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что, по-настоящему, и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы все еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша, уж конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.

Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с *человеком*. А так как *люди* гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с

амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать?

– А все-таки вам в приемную бы пожаловать, – заметил он по возможности настойчивее.

– Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, – весело засмеялся князь, – а, стало быть, вы все еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.

– Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.

– Чиновник-то?

– Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.

– Я уж об этом думал; если позволите. И знаете, сниму я и плащ?

– Конечно, не в плаще же входить к нему.

Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались жевенские серебряные часы.

Хотя князь был и дурачок, – лакей уж это решил, – но все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.

– А генеральша когда принимает? – спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.

– Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.

– Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, – заметил князь, – а вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой – так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.

– Не топят?

– Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.

– Гм! А долго вы изволили ездить?

– Да четыре года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне.

– Отвыкли от нашего-то?

– И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: «А ведь я хорошо говорю». Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется.

– Гм! Хе! В Петербурге-то прежде живали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)

– В Петербурге? Совсем почти нет, так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.

– Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?

– Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет.

– А там казнят?

– Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.

– Вешают?

– Нет, во Франции всё головы рубят.

– Что же, кричит?

– Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно... Голова отскочит так, что и глазом не успеешь миг-

нута. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.

– Не их дело.

– Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил – плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «Не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.

Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.

– Хорошо еще вот, что муки немного, – заметил он, – когда голова отлетает.

– Знаете ли что? – горячо подхватил князь, – вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор *наверно*, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!

Камердинер, хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но конечно, хотя не всё, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его.

– Если уж так вам желательно, – промолвил он, – покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь. В дверь войдете, направо каморка; там можно, только форточку растворите, потому оно не порядок...

Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек, с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя.

– Это, Гаврила Ардалионыч, – начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, – докладывают, что князь Мышкин и барыни родственник, приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке, только...

Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему.

– Вы князь Мышкин? – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькою наполеоновскою бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ.

«Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется», – почувствовалось как-то князю.

Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал.

– Не вы ли, – спросил он, – изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?

– Точно так.

– Так вас здесь знают и наверно помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу... Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную... Зачем они здесь? – строго обратился он к камердинеру.

– Говорю, сами не захотели...

В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда.

– Ты здесь, Ганя? – крикнул голос из кабинета, – а пожалуй-ка сюда!

Гаврила Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет.

Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича:

– Князь, пожалуйста!

III

Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.

– Так-с, – отвечал генерал, – чем же могу служить?

– Дела неотлагательного я никакого не имею; цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений... Но я только что сам из вагона... приехал из Швейцарии...

Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился; потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро, и разбирал бумаги.

– Для знакомств вообще я мало времени имею, – сказал генерал, – но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...

– Я так и предчувствовал, – перебил князь, – что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели.

– Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не всё же забавы, иногда, знаете, случаются и дела... Притом же я никак не могу, до сих пор, разглядеть между нами общего... так сказать причины...

– Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало. Потому что, если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был, с лишком; да и что я выехал: почти не в своем уме! И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь; даже вот и дело одно имею и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал: «Это почти родственники, начну с них; может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, – если они люди хорошие». А я слышал, что вы люди хорошие.

– Очень благодарен-с, – удивлялся генерал, – позвольте узнать, где остановились?

– Я еще нигде не остановился.

– Значит, прямо из вагона ко мне? И... с поклажей?

– Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего; я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять.

– Так вы все еще имеете намерение номер занять?

– О да, конечно.

– Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне.

– Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению, не почему-либо, а так... по характеру.

– Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, – хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, – то, стало быть...

– То, стало быть, вставать и уходить? – приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. – И вот, ей-богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо... Да и тогда мне тоже на письмо не ответили... Ну, прощайте и извините, что беспокоил.

Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение.

– А знаете, князь, – сказал он совсем почти другим голосом, – ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца... Подождите, если хотите, коли у вас время терпит.

– О, у меня время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил свою мягкую, круглополую шляпу на стол). Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить; я это заметил, а у вас, должно быть, на этот счет строгие инструкции; но я, право, не за этим, а, право, для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит.

– Вот что, князь, – сказал генерал с веселою улыбкой, – если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться; только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кой-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям... хорошим, то есть... но... Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь?

– Двадцать шесть.

– Ух! А я думал, гораздо меньше.

– Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать... И наконец, мне кажется, мы такие разные люди на вид... по многим обстоятельствам, что, у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть... это от лености людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти... А впрочем, я, может быть, скучно начал? Вы, как будто...

– Два слова-с: имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так...

– Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий, тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие, мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дороге, и дал ровно вплоть, так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете, но...

– Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить и какие были ваши намерения? – перебил генерал.

– Трудиться как-нибудь хотел.

– О, да вы философ; а впрочем... знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают? Извините опять...

– О, не извиняйтесь. Нет-с, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется...

Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, – впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственникам; для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер; он объявил, впрочем, что

хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал: идиота). Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодною водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию, лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог; и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию.

Генерал очень удивился.

– И у вас в России никого, решительно никого? – спросил он.

– Теперь никого, но я надеюсь... притом я получил письмо.

– По крайней мере, – перебил генерал, не расслышав о письме, – вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место, в какой-нибудь службе?

– О, наверно не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть.

– Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?

– О, очень могу.

– Прекрасно-с; а почерк?

– А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, – с жаром сказал князь.

– Сделайте одолжение. И это даже надо... И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы.

– У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная, славная бумага... И какой славный у вас кабинет! Вот этот пейзаж я знаю; это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел; это в кантоне Ури...

– Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу; вот перья и бумага, вот на этот столик пожалуйста. Что это? – обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата, – ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама? – оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.

– Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, – прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.

– Ну нет, – с убеждением перебил генерал, – и какой, право, у тебя склад мыслей! Станет она намекать... да и не интересанка совсем. И притом, чем ты станешь дарить: ведь тут надо тысячи! Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?

– Нет, еще не просила; да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных.

– Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм... А знаешь, Ганя, я уж, так и быть, тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.

Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного.

– Она это наверно сказала? – спросил он, и голос его как бы дрогнул.

– Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать.

Генерал пристально рассматривал Ганю; смущение Гани ему видимо не нравилось.

– Вспомните, Иван Федорович, – сказал тревожливо и колеблясь Ганя, – что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дела, да и тогда все еще мое слово за мной...

– Так разве ты... так разве ты... – испугался вдруг генерал.

– Я ничего.

– Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?

– Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился...

– Еще бы ты-то отказывался! – с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. – Тут, брат, дело уж не в том, что ты *не* отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова... Что у тебя дома делается?

– Да что дома? Дома всё состоит в моей воле, только отец, по обыкновению, дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался; я с ним уж и не говорю, но, однако ж, в тисках держу, и, право, если бы не мать, так указал бы дверь. Мать всё, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы и в доме желаю, чтобы меня... слушались. Сестре по крайней мере всё это отчеканил, при матери.

– А я, брат, продолжаю не постигать, – задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. – Нина Александровна тоже намереди, вот когда приходила-то, помнишь? стонет и охает; «чего вы?» – спрашиваю. Выходит, что им будто бы тут *бесчестье*. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно! «Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям?» Ну! Эвона! Ай да Нина Александровна! То есть, как это не понимать, как это не понимать...

– Своего положения? – подсказал Ганя затруднившемуся генералу. – Она понимает; вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И, однако, до сих пор всё тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется.

Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.

– Так это Настасья Филипповна? – промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. – Удивительно хороша! – прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна... Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя...

– Как, Настасья Филипповна! Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну? – спросил генерал.

– Да; всего только сутки в России, а уж такую красавицу знаю, – ответил князь, и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.

– Вот еще новости! – опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.

– Вероятно, одно только безобразие, – пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя, – купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал.

– Да и я, брат, слышал, – подхватил генерал. – Тогда же, после серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и... страсть. Безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем хмелю!.. Гм!.. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! – заключил генерал задумчиво.

– Вы миллиона опасаетесь? – осклабился Ганя.

– А ты нет, конечно?

– Как вам показалось, князь, – обратился вдруг к нему Ганя, – что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?

В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренно и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.

– Не знаю, как вам сказать, – ответил князь, – только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то больной страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит.

– Так? Вам так показалось? – уцепился генерал за эту идею.

– Да, показалось.

– И, однако ж, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется, – усмехнулся генералу Ганя.

– Гм!.. Конечно... Пожалуй, а уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет, – сказал генерал.

– А ведь вы знаете, какова она иногда?

– То есть какова же? – вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. – Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь и постарайся эдак, знаешь, быть... одним словом, быть по душе... Гм!.. Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Ардалионыч, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать: из-за чего мы хлопочем? Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен; я, так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди; не доверяешь ты, что ли, мне? Притом же ты человек... человек... одним словом, человек умный, и я на тебя понадеялся... а это, в настоящем случае, это... это...

– Это главное, – договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил.

– Ну да, ум главное! – поддакнул он, резко смотря на Ганю. – И смешной же ты человек, Гаврила Ардалионыч! Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да тут именно чрез ум надо бы с самого начала дойти; тут именно надо понять и... и поступить с обеих сторон: честно и прямо, не то... предупредить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче, что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно (генерал значительно поднял брови), несмотря на то, что остается всего только несколько часов... Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? Если не хочешь, скажи, и – милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалионыч, не удерживает, никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан.

– Я хочу, – вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк.

Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж видимо раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная

мысль, что ведь князь был тут и все-таки слышал. Но он мгновенно успокоился, при одном взгляде на князя можно была вполне успокоиться.

– Ого! – вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем, – да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!

На толстом веленовом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу: «Смиранный игумен Пафнутий руку приложил».

– Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый, крупный французский шрифт, прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), – согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые *д*, *а*. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, *черный* шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот, это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг; это закончено; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная; линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан – пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее и вдобавок позволен росчерк, а росчерк – это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него.

– Ого! да в какие вы тонкости заходите, – смеялся генерал, – да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?

– Удивительно, – сказал Ганя, – и даже с сознанием своего назначения, – прибавил он, смеясь насмешливо.

– Смейся, смейся, а ведь тут карьера, – сказал генерал. – Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу. Однако уж половина первого, – заключил он, взглянув на часы, – к делу, князь, потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся! Присядьте-ка на минутку; я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии; но помочь вам капельку искренно желаю, капельку, разумеется, то есть в виде необходимейшего, а там как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь-с насчет дальнейшего: в доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионыча Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше чем клад, во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврилы Ардалионыча, – дамы, которых

я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я, по некоторым обстоятельствам, прекратил сношения, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и я надеюсь, жалование ваше вскорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то, для первоначалу, позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и душевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель; впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто; надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире?

– О, напротив! И мамаша будет очень рада... – вежливо и предупредительно подтвердил Ганя.

– У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его Ферд... Фер...

– Фердыщенко.

– Ну да; не нравится мне этот ваш Фердыщенко: сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна? Да он взаправду, что ли, ей родственник?

– О нет, все это шутка! И не пахнет родственником.

– Ну, черт с ним! Ну, так как же вы, князь, довольны или нет?

– Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову приклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин.

– Рогожин? Ну нет; я бы вам посоветовал отечески, или, если больше любите, дружески, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще, советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.

– Если уж вы так добры, – начал было князь, – то вот у меня одно дело. Я получил уведомление...

– Ну, извините, – перебил генерал, – теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне: если она пожелает принять вас теперь же (я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать), то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться; вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счета, мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить...

Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю; князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет; но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян; улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы, на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю; тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его.

– Так вам нравится такая женщина, князь? – спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое-то чрезвычайное намерение.

– Удивительное лицо! – ответил князь, – и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. – Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!

– А женились бы *вы* на такой женщине? – продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.

– Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, – сказал князь.

– А Рогожин женился бы? Как вы думаете?

– Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.

Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.

– Что с вами? – проговорил он, хватая его за руку.

– Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству, – возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.

IV

Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, и, конечно вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которою принимались дочерьми, в сущности, давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия; Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом всё капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстанавливалась опять, и всё шло как не надо лучше.

Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита, и обыкновенно, в половине первого, принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофею выпивалось барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбили и установилось раз и навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиних комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самою генеральшей, котлет и пр., подавался даже крепкий, горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, все семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться к половине первого. Если б он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же послали бы; но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ее на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще накануне предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному «анекдоту» (как он сам по привычке своей выражался), и уже засыпая вчера, об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться; тут хотя и не сердились на него, но все-таки и тут было тоже как бы что-то особенное. Правда, генерал, по некоторым обстоятельствам, стал излишне подозрителен; но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры.

Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Епанчина в начале нашей повести. Мы уже сказали сейчас, что сам генерал, хотя был человек и не очень образованный, а, напротив, как он сам выражался о себе, «человек самоучный», но был, однако же, опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не «висеть у них над душой» и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастии, как невольно и естественно происходит сплошь да рядом даже в самых умных семействах, в которых накапливаются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил и Лизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное, — трудное потому, что и неестественное; но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решениям невесты натурально принуждены же будут, наконец, взяться сами за ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость; родителям оставалось бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не

произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение; следственно, чем более уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил и еще один факт: старшей дочери, Александре, вдруг и совсем почти неожиданно (как и всегда это так бывает), минуло двадцать пять лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет пятидесяти пяти, изящного характера, с необыкновенною утонченностью вкуса. Ему хотелось жениться хорошо; ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Епанчиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства: возможно или нет предположение о его браке с одною из его дочерей? В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Епанчина наступал очевидный переворот.

Бесспорною красавицей в семействе, как уже сказано было, была младшая, Аглая. Но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайного эгоизма, понял, что не тут ему надо искать, и что Аглая не ему предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Аглаи предназначалась между ними, самым искренним образом, быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой, и как-то без особенных лишних слов, о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Аглаи: приданое для Аглаи предназначалось колоссальное и из ряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер, и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер наверно не откажется увенчать их желания, тем более что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданого. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, с свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест, по некоторым особым обстоятельствам, чрезвычайную осторожность в своих шагах, и только еще сондировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них, тоже хоть не совсем определенное, но по крайней мере успокоительное заявление, что старшая, Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка, хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая; могла выйти за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. Собою она была очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше для Тоцкого?

И однако же, дело продолжало идти все еще ощупью. Взаимно и дружески, между Тоцким и генералом положено было до времени избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители всё еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто; начинался как будто и диссонанс: генеральша Епанчина, мать семейства, становилась почему-то недовольною, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого все дело могло расстроиться безвозвратно.

Этот мудреный и хлопотливый «случай» (как выражался сам Тоцкий) начался еще очень давно, лет восемнадцать этак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афанасия Ивановича, в одной из срединных губерний, бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим непрерывным и анекдотическим неудачам, — один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии, и даже в этом отношении почище Тоцкого, некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел

уже, наконец, после каторжных, почти мужичьих трудов, устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться и, буде возможно, столковаться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженной щекой и обгоревшею бородой, и возвестил ему, что «вотчина сгорела», вчера, в самый полдень, причем «изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались». Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к «синякам фортуны», не мог вынести; он сошел с ума и чрез месяц помер в горячке. Сгоревшее имение, с разбредшимися по миру мужиками, было продано за долги; двух же маленьких девочек, шести и семи лет, детей Барашкова, по великодушью своему, принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка, Настя, а младшая умерла от коклюша; Тоцкий же вскоре совсем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет пять спустя, однажды, Афанасий Иванович, проездом, вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещающую необыкновенную красоту; в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно чрез четыре года это воспитание кончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой, вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом; убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась селцо Отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а чрез две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович... С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую, степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно.

Однажды случилось, что как-то в начале зимы, месяца четыре спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на две недели, пронесся слух, или, лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, – одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным: свадьба и тогда была еще только в проекте, и все еще было очень неопределенно, но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна-одинехонька. Тот изумился, начал было говорить; но вдруг оказалось, почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, – всё, всё, всё! Пред ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце в селце Отрадном.

Эта новая женщина, оказалось, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, — так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?) Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том по крайней мере, как некоторые дела текут на свете; во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное.

Нет: тут хохотало пред ним и кололо его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак, и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что, следственно, так и быть должно, — «ну хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой вволю, потому что теперь и я наконец смеяться хочу».

Так по крайней мере она выражалась; всего, что было у ней на уме, она, может быть, и не высказала. Но покамест новая Настасья Филипповна хохотала и все это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и по возможности приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени; он вникал и решался окончательно почти две недели; но чрез две недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около пятидесяти лет, и человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно из ряда вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, — что-то вроде какого-то романического негодования, бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, — одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее божие наказание. Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодейство, чтоб избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом; даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко ее можно было всегда ограничить. Но все это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все, и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и... в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, а пуще всего собой (нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьезности этого чувства), Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надру-

гаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом, или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно бы, испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови, или плюнут всепублично в лицо и пр., и пр., а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и непринятой форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом; он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно, знала, чем в него и ударить. А так как свадьба действительно была еще только в намерении, то Афанасий Иванович смирился и уступил Настасье Филипповне.

Решению его помогло и еще одно обстоятельство: трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь... Тоцкий долго не мог простить себе, что он четыре года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон, внутренне и внезапно, происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежде мгновения, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза: как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел – точно задавал загадку. В последние два года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи Филипповны; она становилась ужасно бледна и – странно – даже хорошела от этого. Тоцкий, который, как все погулявшие на своем веку джентльмены, с презрением смотрел вначале, как дешево досталась ему эта нежившая душа, в последнее время несколько усомнился в своем взгляде. Во всяком случае, у него положено было еще прошлой весной, в скором времени, отлично и с достатком выдать Настасью Филипповну замуж за какого-нибудь благоразумного и порядочного господина, служащего в другой губернии. (О, как ужасно и как зло смеялась над этим теперь Настасья Филипповна!) Но теперь Афанасий Иванович, прельщенный новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину. Он решил поселить Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Если не то, так другое: Настасьей Филипповной можно было щегольнуть и даже потщеславиться в известном кружке. Афанасий же Иванович так дорожил своею славой по этой части.

Прошло уже пять лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное; всего хуже было то, что он, струсив раз, уже никак потом не мог успокоиться. Он боялся – и даже сам не знал чего, просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в первые два года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчиво его предложения. Претензия была бы странная; Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому и (таково сердце человека!) к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг, по одному случаю, убедился, что если бы даже он и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость «оскорбленной и фантастической женщины» доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее выказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недостижимого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный, и хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти пять лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи: неприметно и искусно он стал соблазнять ее, чрез ловкую помощь, разными идеальнейшими соблазнами; но олицетворенные идеалы: князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже – ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала,

даже училась, любила музыку. Знакомств имела мало: она все зналась с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала двух каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и в семействе этом и ее очень любили и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней пять-шесть человек знакомых, не более. Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Епанчин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник, по фамилии Фердыщенко, очень неприличный и сальный шут, с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек, по фамилии Птицын, скромный, аккуратный и вылощенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком. Познакомился, наконец, и Гаврила Ардалионович... Кончилось тем, что про Настасью Филипповну установилась странная слава: о красоте ее знали все, но и только; никто не мог ничем похвалиться, никто не мог ничего рассказать. Такая репутация, ее образование, изящная манера, остроумие, все это утвердило Афанасия Ивановича окончательно на известном плане. Тут-то и начинается тот момент, с которого принял в этой истории такое деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Епанчин.

Когда Тоцкий так любезно обратился к нему за дружеским советом насчет одной из его дочерей, то тут же, самым благороднейшим образом, сделал полнейшие и откровенные признания. Он открыл, что решился уже не останавливаться *ни пред какими* средствами, чтобы получить свою свободу; что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое; что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии. Столковались и решились действовать сообща. Первоначально положено было испытать средства самые мягкие и затронуть, так сказать, одни «благородные струны сердца». Оба приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий прямехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения; обвинил он себя во всем; откровенно сказал, что не может раскаться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться, и что вся судьба этого в высшей степени приличного и светского брака в ее руках; одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Епанчин, в своем качестве отца, и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны: «Чего именно от нее хотят?» – Тоцкий с прежнею, совершенно обнаженной прямою, признался ей, что он так напуган еще пять лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться, до тех пор, пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если б он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Ардалионович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти, и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признания эти Гаврила Ардалионович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже, по-дружески и от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом, но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество: что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая

так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель; что тут гибель способностей, может быть, блестящих, добровольное любование своею тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, не достойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, он заключил, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в семьдесят пять тысяч рублей. Он прибавил в пояснение, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании; одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь... и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть и т. д., и т. д., все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать мимоходом, очень любопытное сведение, что об этих семидесяти пяти тысячах он заикнулся теперь в первый раз и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит; одним словом, не знает *никто*.

Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей.

Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого, при одном воспоминании, до сих пор проходил холод по спине Тоцкого, но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может наконец поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой, а потом, весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае и быть не могло; что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи, и что хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов; что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Афанасий Иванович все еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях, и давно уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезною, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно; Афанасий Иванович угадал мечты ее; она желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель; но что о Гавриле Ардалионовиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит; она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности; но он очень молод, если даже и искренен; тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится и один поддерживает все семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврилы Ардалионовича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина; что сестра его Варвара Ардалионовна очень замечательная и энергичная девушка; она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья; она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью? Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать; она желала бы, чтоб ее не торопили. Насчет же семидесяти пяти тысяч, – напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Ардалионовичу, но, однако ж, почему же и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтоб это знали. Она не выйдет за Гаврилу Ардалионовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем

не считает себя виновною, и пусть бы лучше Гаврила Ардалионович узнал, на каких основаниях она прожила все эти пять лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу, и много ли скопила состояния. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу.

Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая всё это (что, впрочем, было так естественно), что генерал Епанчин был очень доволен и считал дело оконченным; но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил, и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались; пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей: слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и позволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя; что она до самой свадьбы (если свадьба состоится) оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час; совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, чрез услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаруживавшееся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности; сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы и еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров; но мы и так забежали вперед, тем более что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Епанчиными, – слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара: он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно, непропорционально ни с чем самолюбивая; что Ганя хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу, и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть, и он хотя и дал наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на «скверной женщине», но сам поклялся в душе горько отомстить ей за это и «доехать» ее потом, как он будто бы сам выразился. Всё это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Епанчину перестал сообщать о своих беспокойствах; но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом: он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала, наконец, слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы! всё более и более оказывался верным.

Тут с первого взгляда все казалось чистейшею дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович, на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и пр., и пр., соблазнился сам Настасьей Филипповной, – но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае – трудно себе и представить; может быть, даже на содействие самого Гани. Тоцкому подозревалось по крайней мере что-то в этом роде, подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении, между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет; мало того,

теряет рассудок и действует как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна – женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Епанчина. Правда, Лизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней; но ведь невозможно же было пропустить такой случай: слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно; еще накануне были сказаны иные словечки; он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так кстати пришелся князь. «Точно бог послал!» – подумал генерал про себя, входя к своей супруге.

V

Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было, прямо и без приготовления, услышать, что этот последний в роде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий, и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь все как-нибудь в другую сторону.

В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет с своим мужем, с темными, с большою проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми, ввалившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок; серые, довольно большие глаза имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен; это убеждение осталось в ней неизгладимо.

– Принять? Вы говорите, его принять, теперь, сейчас? – И генеральша изо всех сил выкатывала свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича.

– О, на этот счет можно без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть, – спешил разъяснить генерал. – Совершенный ребенок и даже такой жалкий; припадки у него какие-то болезненные; он сейчас из Швейцарии, только что из вагона, одет странно, как-то по-немецкому, и вдобавок ни копейки, буквально; чуть не плачет. Я ему двадцать пять рублей подарил и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть. А вас, mesdames, прошу его попотчевать, потому что он, кажется, и голоден...

– Вы меня удивляете, – продолжала по-прежнему генеральша, – голоден и припадки! Какие припадки?

– О, они не повторяются так часто, и притом он почти как ребенок, впрочем образованный. Я было вас, mesdames, – обратился он опять к дочерям, – хотел попросить проэкзаменовать его, все-таки хорошо бы узнать, к чему он способен.

– Про-эк-за-ме-но-вать? – протянула генеральша и в глубочайшем изумлении стала опять перекачивать глаза с дочерей на мужа и обратно.

– Ах, друг мой, не придавай такого смыслу... впрочем, ведь как тебе угодно; я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело.

– Ввести к нам? Из Швейцарии?!

– Швейцария тут не помешает; а впрочем, повторяю, как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а во-вторых, не знает, где главу приклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии.

– Разумеется, тамап, если с ним можно без церемонии; к тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает куда деваться? – сказала старшая Александра.

– И вдобавок дитя совершенное, с ним можно еще в жмурки играть.

– В жмурки играть? Каким образом?

– Ах, тамап, перестаньте представляться, пожалуйста, – с досадой перебила Аглая.

Средняя, Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась.

– Позовите его, рара, тамап позволяет, – решила Аглая.

Генерал позвонил и велел звать князя.

– Но с тем, чтобы непременно завязать ему салфетку на шее, когда он сядет за стол, – решила генеральша, – позвать Федора, или пусть Мавра... чтобы стоять за ним и смотреть за ним, когда он будет есть. Спокоен ли он по крайней мере в припадках? Не делает ли жестов?

– Напротив, даже очень мило воспитан и с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда... Да вот он и сам! Вот-с, рекомендую, последний в роде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник, примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь... А я уж, извините, опоздал, спешу...

– Известно, куда вы спешите, – важно проговорила генеральша.

– Спешу, спешу, мой друг, опоздал! Да дайте ему ваши альбомы, mesdames, пусть он там напишет; какой он каллиграф, так на редкость! Талант; там он так у меня расчеркнулся старинным почерком: «Игумен Пафнутий руку приложил»... Ну, до свидания.

– Пафнутий? Игумен? Да по стойте, по стойте, куда вы, и какой там Пафнутий? – с настойчивою досадою и чуть не в тревоге прокричала генеральша убежавшему супругу.

– Да, да, друг мой, это такой в старину был игумен... а я к графу, ждет, давно, и главное, сам назначил... Князь, до свидания!

Генерал быстрым шагами удалился.

– Знаю я, к какому он графу! – резко проговорила Лизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя. – Что бишь! – начала она брезгливо и досадливо припоминая, – ну, что там? Ах да: ну, какой там игумен?

– Мамап, – начала было Александра, а Аглая даже топнула ножкой.

– Не мешайте мне, Александра Ивановна, – отчеканила ей генеральша, – я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле, напротив, нет, сюда, к солнцу, к свету ближе подвиньтесь, чтоб я могла видеть. Ну, какой там игумен?

– Игумен Пафнутий, – отвечал князь внимательно и серьезно.

– Пафнутий? Это интересно; ну, что же он?

Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз с князя, а когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом.

– Игумен Пафнутий, четырнадцатого столетия, – начал князь, – он правил пустыню на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одною грамотой, а снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк, и я его заучил. Когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтоб определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами, и между прочим «Игумен Пафнутий руку приложил» собственным почерком игумена Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.

– Аглая, – сказала генеральша, – запомни: Пафнутий, или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала будет интереснее. Где ж эта подпись?

– Осталась, кажется, в кабинете у генерала, на столе.

– Сейчас же послать и принести.

– Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно.

– Конечно, мамап, – сказала Александра, – а теперь лучше бы завтракать; мы есть хотим.

– И то, – решила генеральша. – Пойдемте, князь; вы очень хотите кушать?

– Да, теперь захотел очень, и очень вам благодарен.

– Это очень хорошо, что вы вежливы, и я замечаю, что вы вовсе не такой... чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте. Садитесь вот здесь, напротив меня, – хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую, – я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, потчуйте князя. Не правда ли, что он вовсе не такой... больной? Может, и салфетку не надо... Вам, князь, подвязывали салфетку за кушаньем?

– Прежде, когда я лет семи был, кажется, подвязывали, а теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем.

– Так и надо. А припадки?

– Припадки? – удивился немного князь, – припадки теперь у меня довольно редко бывают. Впрочем, не знаю; говорят, здешний климат мне будет вреден.

– Он хорошо говорит, – заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя, – я даже не ожидала. Стало быть, все пустяки и неправда; по обыкновению. Кушайте, князь, и рассказывайте: где вы родились, где воспитывались? Я хочу все знать; вы чрезвычайно меня интересуете.

Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать все то, о чем ему уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральша становилась все довольнее и довольнее. Девицы тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней; оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо; но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно бы было еще счестся отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной, при всем желании, так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа.

– Пойдемте все в нашу сборную, – сказала она, – и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть, – обратилась она к князю, уводя его, – попросту, моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся, и каждая своим делом занимается: Александра, вот эта, моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет; Аделаида – пейзажи и портреты пишет (и ничего кончить не может), а Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится: ничего не выходит. Ну вот, и пришли; садитесь, князь, сюда, к камину, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Белоконской увижусь, со старухой, ей про вас все расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же.

– Мамап, да ведь этак очень странно рассказывать, – заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложив руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание.

– Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели, – заметила Аглая.

– Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария, первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет.

– Впечатление было сильное... – начал было князь.

– Вот-вот, – подхватила нетерпеливая Лизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям, – начал же.

– Дайте же ему по крайней мере, мамап, говорить, – остановила ее Александра. – Этот князь, может быть, большой плут, а вовсе не идиот, – шепнула она Аглае.

– Наверно так, я давно это вижу, – ответила Аглая. – И подло с его стороны роль разыгрывать. Что он, выиграть, что ли, этим хочет?

– Первое впечатление было очень сильное, – повторил князь. – Когда меня везли из России, чрез разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров и силен, вот как теперь. Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось плакать; я все удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что всё это *чужое*; это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело.

– Осел? Это странно, – заметила генеральша. – А впрочем, ничего нет странного, иная из нас в осла еще влюбится, – заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. – Это еще в мифологии было. Продолжайте, князь.

– С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это преполнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое; и чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть.

– Всё это очень странно, но об осле можно и пропустить; перейдемте на другую тему. Чего ты все смеешься, Аглая? И ты, Аделаида? Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел, а ты что видела? Ты не была за границей?

– Я осла видела, тамап, – сказала Аделаида.

– А я и слышала, – подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними.

– Это очень дурно с вашей стороны, – заметила генеральша. – Вы их извините, князь, а они добрые. Я с ними вечно бранюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие.

– Почему же? – смеялся князь. – И я бы не упустил на их месте случай. А я все-таки стою за осла: осел добрый и полезный человек.

– А вы добрый, князь? Я из любопытства спрашиваю, – спросила генеральша.

Все опять засмеялись.

– Опять этот проклятый осел подвернулся; я о нем и не думала! – вскрикнула генеральша. – Поверьте мне, пожалуйста, князь, я без всякого...

– Намека? О, верю без сомнения!

И князь смеялся не переставая.

– Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек, – сказала генеральша.

– Иногда недобрый, – отвечал князь.

– А я добрая, – неожиданно вставила генеральша, – и, если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда доброю. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча, пред вашим приходом, рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает; точно ребенок. Аглая мне урок дала; спасибо тебе, Аглая. Впрочем, всё вздор. Я еще не так глупа, как кажусь, и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю. Поди сюда, Аглая, поцелуй меня, ну... и довольно нежностей, – заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. – Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь и поинтереснее осла вспомните.

– Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать, – заметила опять Аделаида, – я бы никак не нашлась.

– А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя по крайней мере в десять раз, а может, и в двенадцать. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь; продолжайте. Осла и в самом деле можно наконец мимо. Ну, что вы, кроме осла за границей видели?

– Да и об осле было умно, – заметила Александра, – князь рассказал очень интересно свой болезненный случай и как все ему понравилось чрез один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают. Особенно если это вдруг делается.

– Не правда ли? Не правда ли? – вскинулась генеральша. – Я вижу, что и ты иногда бываешь умна; ну, довольно смеяться! Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь, ну!

– Мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом, – сказал князь.

– Почему? – спросила Александра.

– Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз; и хорошо, и беспокойно; впрочем, все это еще в болезни было.

– Ну нет, я бы очень хотела посмотреть, – сказала Аделаида. – И не понимаю, когда мы за границу соберемся. Я вот сюжета для картины два года найти не могу:

Восток и Юг давно описан...

Найдите мне, князь, сюжет для картины.

– Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется: взглянуть и писать.

– Взглянуть не умею.

– Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю! – перебила генеральша. – Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь.

– Вот это лучше будет, – прибавила Аделаида. – Князь ведь за границей выучился глядеть.

– Не знаю; я там только здоровье поправил; не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все время был очень счастлив.

– Счастлив! Вы умеете быть счастливым? – вскричала Аглая. – Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите.

– Научите, пожалуйста, – смеялась Аделаида.

– Ничему не могу научить, – смеялся и князь, – я все почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне; редко выезжал куда-нибудь недалеко; чему же я вас научу? Сначала мне было только нескучно; я стал скоро выздоравливать; потом мне каждый день становился дорог, и чем дальше, тем дороже, так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это все – довольно трудно рассказать.

– Так что вам уж никуда и не хотелось, никуда вас не позывало? – спросила Александра.

– Сначала, с самого начала, да, позывало, и я впадал в большое беспокойство. Все думал, как я буду жить; свою судьбу хотел испытать, особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У нас там водопад был, небольшой, высоко с горы падал и такую тонкою ниткой, почти перпендикулярно, – белый, шумливый, пенистый; падал высоко, а казалось, довольно низко, был в полверсте, а казалось, что до него пятьдесят шагов. Я по ночам любил слушать его шум; вот в эти минуты доходил иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые; вверх на скале старый средневековый, развалины; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, и мне все казалось, что если пойти все прямо, идти долго, долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встретится, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильнее и шумней, чем у нас; такой большой город мне все мечтался, как Неаполь, в нем все дворцы, шум, гром, жизнь... Да мало ли что мечталось! А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти.

– Последнюю похвальную мысль я еще в моей «Хрестоматии», когда мне двенадцать лет было, читала, – сказала Аглая.

– Это всё философия, – заметила Аделаида, – вы философ и нас приехали поучать.

– Вы, может, и правы, – улыбнулся князь, – я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать... Это может быть; право, может быть.

– И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николаовны, – подхватила опять Аглая, – такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У ней вся задача в жизни – дешевизна; только чтоб было дешевле прожить, только о копейках и говорит, и, заметьте, у ней деньги есть, она плутовка. Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме, а может быть, и ваше четырехлетнее счастье в деревне, за которое вы ваш город Неаполь продали, и, кажется, с барышом, несмотря на то что на копейки.

– Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться, – сказал князь, – я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет двенадцать; это был один из больных у моего профессора и лечился. У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но, уж конечно, не копеечная. А все знакомство-то у него было с пауком, да с деревцем, что под окном выросло... Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было, – странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Трех первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые, длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы *думать про себя*; он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже *ничто*, кто-то или что-то, – так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Незнание и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как непрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего

бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!» Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтоб его поскорей застрелили.

Князь вдруг замолчал; все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение.

– Вы кончили? – спросила Аглая.

– Что? кончил, – сказал князь, выходя из минутной задумчивости.

– Да для чего же вы про это рассказали?

– Так... мне припомнилось... я к разговору...

– Вы очень обрывисты, – заметила Александра, – вы, князь, верно, хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда пять минут дороже сокровища. Все это похвально, но позвольте, однако же, как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал... ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту «бесконечную жизнь». Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую-то минуту «счетом»?

– О нет, он мне сам говорил, – я его уже про это спрашивал, – вовсе не так жил и много, много минут потерял.

– Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить взаправду, «отсчитывая счетом». Почему-нибудь да нельзя же.

– Да, почему-нибудь да нельзя же, – повторил князь, – мне самому это казалось... А все-таки, как-то не верится...

– То есть вы думаете, что умнее всех проживете? – сказала Аглая.

– Да, мне и это иногда думалось.

– И думается?

– И думается, – отвечал князь, по-прежнему с тихой и даже робкою улыбкой смотря на Аглаю; но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее.

– Скромно! – сказала Аглая, почти раздражаясь.

– А какие, однако же, вы храбрые, вот вы смеетесь, а меня так всё это поразило в его рассказе, что я потом во сне видел, именно эти пять минут видел...

Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц.

– Вы не сердитесь на меня за что-нибудь? – спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза.

– За что? – вскричали все три девицы в удивлении.

– Да вот, что я все как будто учу...

Все засмеялись.

– Если сердитесь, то не сердитесь, – сказал он, – я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю...

И он решительно сконфузился.

– Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше; зачем же вы кривите и извиняетесь? – строго и привязчиво начала Аглая, – и не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете, тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь и покажи вам пальчик, вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведете, да еще довольны останетесь. Этак можно прожить.

– За что ты все злишься, не понимаю, – подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших, – и о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой пальчик и что за вздор? Князь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем ты его обескураживаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел.

– Ничего, тапан. А жаль, князь, что вы смертной казни не видели, я бы вас об одном спросила.

– Я видел смертную казнь, – отвечал князь.

– Видели? – вскричала Аглая. – Я бы должна была догадаться! Это венчает все дело. Если видели, как же вы говорите, что все время счастливо прожили? Ну, не правду ли я вам сказала?

– А разве в вашей деревне казнят? – спросила Аделаида.

– Я в Лионе видел, я туда с Шнейдером ездил, он меня брал. Как приехал, так и попал.

– Что же, вам очень понравилось? Много назидательного? Полезного? – спрашивала Аглая.

– Мне это вовсе не понравилось, и я после того немного болен был, но признаюсь, что смотрел как прикованный, глаз оторвать не мог.

– Я бы тоже глаз оторвать не могла, – сказала Аглая.

– Там очень не любят, когда женщины ходят смотреть, даже в газетах потом пишут об этих женщинах.

– Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать (а стало быть, оправдать), что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы так же, конечно, думаете?

– Расскажите про смертную казнь, – перебила Аделаида.

– Мне бы очень не хотелось теперь... – смешался и как бы нахмурился князь.

– Вам точно жалко нам рассказывать, – кольнула Аглая.

– Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь давеча рассказывал.

– Кому рассказывали?

– Вашему камердинеру, когда дожидался...

– Какому камердинеру? – раздалось со всех сторон.

– А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо; я в передней сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти.

– Это странно, – заметила генеральша.

– Князь – демократ, – отрезала Аглая, – ну, если Алексею рассказывали, нам уж не можете отказать.

– Я непременно хочу слышать, – повторила Аделаида.

– Давеча, действительно, – обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь (он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся), – действительно у меня мысль была, когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет: нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины, когда еще он на эшафоте стоит, пред тем как лечь на эту доску.

– Как лицо? Одно лицо? – спросила Аделаида. – Станный будет сюжет, и какая же тут картина?

– Не знаю, почему же? – с жаром настаивал князь. – Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хочется вам рассказать... Я когда-нибудь расскажу... очень меня поразила.

– О базельской картине вы непременно расскажете после, – сказала Аделаида, – а теперь растолкуйте мне картину из этой казни. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо?

– Это ровно за минуту до смерти, – с полною готовностью начал князь, увлекаясь воспоминанием и, по-видимому, тотчас же забыв о всем остальном, – тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот. Тут он взглянул в мою сторону; я поглядел на его лицо и всё понял... Впрочем, ведь как это рассказать! Мне ужасно бы, ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал! Лучше бы, если бы вы! Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно всё представить, что было заранее, всё, всё. Он жил в тюрьме и ждал казни, по крайней мере еще чрез неделю; он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна куда-то пойти и только чрез неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В пять часов утра он спал. Это было в конце октября; в пять часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав, тихонько,

со стражей, и осторожно тронул его за плечо; тот приподнялся, облокотился, – видит свет: «Что такое?» – «В десятом часу смертная казнь». Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет чрез неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал, – так рассказывали, – потом сказал: «Все-таки тяжело так вдруг...» – и опять замолк, и уже ничего не хотел говорить. Тут часа три-четыре проходят на известные вещи: на священника, на завтрак, к которому ему вино, кофей и говядину дают (ну, не насмешка ли это? Ведь, подумаешь, как это жестоко, а с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие), потом туалет (вы знаете, что такое туалет преступника?), наконец везут по городу до эшафота... Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверно, думал дорогой: «Еще долго, еще жить три улицы остается; вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо... еще когда-то доедем до булочника!» Кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз, – все это надо перенести, а главное, мысль: «Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!» Ну, вот это все предварительно. На эшафот ведет лесенка; тут он пред лесенкой вдруг заплакал, а это был сильный и мужественный человек, большой злодей, говорят, был. С ним все время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал, и все говорил, – вряд ли тот слышал: и начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так должно быть. Наконец стал всходить на лесенку; тут ноги перевязаны и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а все ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый как бумага, совершенно как белая писчая бумага. Наверно, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, – как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно, – чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать – будь что будет!.. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, – часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал, и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал. И так было до самой доски... Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают! Напротив, голова ужасно живет и работает, должно быть, сильно, сильно, сильно, как машина в ходу; я воображаю, так и стучат разные мысли, всё неконченные и, может быть, и смешные, посторонние такие мысли: «Вот этот глядит – у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела...», а между тем все знаешь и все помнишь; одна такая точка есть, которой никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и все около нее, около этой точки ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждет, и... *знает*, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло! Это непременно услышишь! Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и слышал! Тут, может быть, только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь! И представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова когда и отлетит, то еще с секунду, может быть, знает, что она отлетела, – каково понятие! А что, если пять секунд!.. Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит, и – *всё знает*. Крест и голова, вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу, – все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара... Вот такая картина.

Князь замолк и поглядел на всех.

– Это, конечно, не похоже на квиетизм, – проговорила про себя Александра.

– Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены, – сказала Аделаида.

Князь с удивлением посмотрел на нее.

– Слушайте, – как бы торопилась Аделаида, – за вами рассказ о базельской картине, но теперь я хочу слышать о том, как вы были влюблены; не отпирайтесь, вы были. К тому же вы, сейчас как начнете рассказывать, перестаете быть философом.

– Вы как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказали, – заметила вдруг Аглая. – Отчего это?

– Как это, наконец, глупо, – отрезала генеральша, с негодованием смотря на Аглаю.

– Неумно, – подтвердила Александра.

– Не верьте ей, князь, – обратилась к нему генеральша, – она это нарочно с какой-то злости делает; она вовсе не так глупо воспитана; не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормозят. Они, верно, что-нибудь затеяли, но они уже вас любят. Я их лица знаю.

– И я их лица знаю, – сказал князь, особенно ударяя на свои слова.

– Это как? – спросила Аделаида с любопытством.

– Что вы знаете про наши лица? – залюбопытствовали и две другие.

Но князь молчал и был серьезен; все ждали его ответа.

– Я вам после скажу, – сказал он тихо и серьезно.

– Вы решительно хотите заинтересовать нас, – вскричала Аглая, – и какая торжественность!

– Ну, хорошо, – заторопилась опять Аделаида, – но если уж вы такой знаток лиц, то наверно были и влюблены; я, стало быть, угадала. Рассказывайте же.

– Я не был влюблен, – отвечал князь так же тихо и серьезно, – я... был счастлив иначе.

– Как же, чем же?

– Хорошо, я вам расскажу, – проговорил князь как бы в глубоком раздумье.

VI

– Вот вы все теперь, – начал князь, – смотрите на меня с таким любопытством, что, не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, – прибавил он поскорее с улыбкой. – Там... там были всё дети, и я всё время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то чтоб учил их; о нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо; я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети наконец без меня обойтись не могли и всё вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне наконец первым врагом. У меня много стало там врагов, и всё из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно всё говорить, – всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю... а Тибо просто мне завидовал; он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего, а потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми! Через детей душа лечится... Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастье, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства; по-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал, – вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети... Но я вам про этого больного потом лучше расскажу; я расскажу теперь, как это все началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый; я знаю, что я и собой дурен... наконец и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее... Нет, не смейтесь, – поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц, – тут вовсе не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней, в их маленьком, совсем ветхом домишке, в два окна, было отгорожено одно окно, по дозволению деревенского начальства; из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом, все на самые мелкие гроши, тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней всё ноги пухли, так что все сидела на месте. Мари была ее дочь, лет двадцати, слабая и худенькая; у ней давно начиналась чахотка, но она все ходила по домам в тяжелую работу наниматься поденно, – полы мыла, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез, а через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал. Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками; шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась; ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой не хороша; глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчалива была ужасно. Раз, прежде еще, она за работой вдруг запела, и я помню, что все удивились и стали смеяться: «Мари запела! Как? Мари запела!» – и она ужасно законфузилась, и уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали, но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в

ком! Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать, первая, приняла ее со злобой и с презрением: «Ты меня теперь обесчестила». Она первая ее и выдала на позор: когда в деревне услышали, что Мари воротилась, то все побежали смотреть Мари, и чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе: старики, дети, женщины, девушки, все, такую торопливою, жадною толпой. Мари лежала на полу, у ног старухи, голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и прикинула ничком к полу. Все кругом смотрели на нее, как на гадину; старики осуждали и бранили, молодые даже смеялись, женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презрением таким, как на паука какого. Мать все это позволила, сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время уж очень больна была и почти умирала; чрез два месяца она и в самом деле померла; она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти, даже не говорила с ней ни слова, гнала спать в сени, даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду; Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней; она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала ей ласково. Мари все переносила, и я потом, когда познакомился с нею, заметил, что она и сама все это одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи, по очереди, так там устроено. Тогда Мари совсем уже перестали кормить; а в деревне все ее гнали, и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее, а мужчины даже за женщину перестали ее считать, всё такие скверности ей говорили. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши, так, прямо на землю; Мари молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец, ее отрепья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне; ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, – их было человек сорок с лишком школьников, – стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху, и он заметил это, то уж и не прогонял ее, и иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость с своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была, в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти; тогда пастор, – он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, – обратился ко всем и указал на Мари. «Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины» (и неправда, потому что та уже два года была больна), «вот она стоит пред вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божиим; вот она босая и в лохмотьях, – пример тем, которые теряют добродетель! Кто же она? Это дочь ее!», и всё в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась, но... тут вышла особенная история; тут вступились дети, потому что в это время дети были все уже на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари; ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику; он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал восемь франков, а она стоила верных сорок. Я долго старался встретить Мари одну; наконец, мы встретились за деревней, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал восемь франков и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль, и что я с самого начала ее несколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить, и уверить ее, что она не должна себя такую низко считать пред всеми, но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она все время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кон-

чил, она мне руку поцеловала, и я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорей отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа; я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня; всё обрушилось опять на Мари: ее еще пуще стали не любить. Я слышал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить, говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали браниться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать, я от них ничего не таил; я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться; там в обычае, встретя друг друга, – знакомые или нет, – кланяться и говорить: «Здравствуйте». Воображаю, как Мари удивлялась. Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась, и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и все просили, чтоб я им рассказывал; мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтоб им потом рассказать, и все три года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, – Шнейдер тоже, – зачем я с ними говорю как с большими и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того всё знают, как ни таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были... Я поцеловал Мари еще за две недели до того, как ее мать умерла; когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора; все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что уж это было дурно; но тотчас же в деревне все всё узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Мари, и ужасно перепугались; но Мари уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бежали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсте от деревни; они носили ей гостинцев, а иные просто прибежали для того, чтоб обнять ее, поцеловать, сказать: «Je vous aime, Marie!»¹ и потом стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья; ей это даже и не грезилося; она стыдилась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им все пересказал и что они теперь ее любят и жалеют и всегда так будут. Потом забежали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Мари и что Мари мне кланяется. По вечерам я ходил к водопаду; там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи; туда-то они ко мне по вечерам и сбегались, иные даже украдкой. Мне кажется, для них была ужасным наслаждением моя любовь к Мари, и вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца: им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Леоп так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье; как это они ухитрились, не понимаю;

¹ «Я вас люблю, Мари!» (фр.)

всею ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила; наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне; там у одной, почти прямой, отвесной скалы был выступ; она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша; лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставлял ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем; она все время, как я сидел, дрожала и плакала; правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мари опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале; она, может быть, о чем-нибудь грезилась. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали и почти все перебивали у ней в этот день навестить ее; она лежала в своей постели одна-одинехонька. Два дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди, но потом, когда в деревне прослышали, что Мари уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари, по крайней мере детей уже не останавливали и не бранили, как прежде. Мари все время была в дремоте, сон у ней был беспокойный: она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы только сказать: «Bonjour, notre bonne Marie».² А та, только завидит или заслышит их, вся оживлялась и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «Nous t'aimons, Marie».³ Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, перед закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку; как иссохла у ней рука! А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было: они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было, так, только из любопытства, зашли некоторые; но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми: они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки видались, издали объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии все это уладилось, но тогда было очень хорошо: я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной «системе» с детьми. Какая у меня система! Наконец, Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, – это уж

² «Здравствуй, наша славная Мари» (фр.).

³ «Мы тебя любим, Мари» (фр.).

было пред самым моим отъездом, – он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда: я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, – и это я давно заметил, – не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я, еще в начале моего жития в деревне, – вот когда я уходил тосковать один в горы, – когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы (потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добегали), и я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся судьба моя пошла на них. Я никогда и не рассчитывал покинуть деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я всё буду там, но я увидел наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня, а тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменялась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много, все исчезло. Я сидел в вагоне и думал: «Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь». Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным; больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, – так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются...» У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо! Как они тосковали, провожая меня! Еще за месяц начали провожать: «Leon s'en va, Leon s'en va pour toujours!».⁴ Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и всё говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде; только, расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех, по одному, для того только, чтоб обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, всею гурьбой, провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал, только для того и останавливал всю толпу; а мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон и вагон тронулся, они все мне прокричали «ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел... Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, – я теперь очень

⁴ «Леон уезжает, Леон уезжает навсегда!» (фр.)

всматриваюсь в лица, – и услышал ваши первые слова, то у меня, в первый раз с того времени, стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых: я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь, а я вас, только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мысль: я не из того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо, из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь: «У ней лицо, как у доброй сестры». Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеете скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. Ну, вот и про ваше лицо; хорош я угадчик? Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, – обратился он вдруг к генеральше, – про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок, во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю? И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас вам про ваши лица; о нет, совсем нет! Может быть, и я свою мысль имел.

VII

Когда князь замолчал, все на него смотрели весело, даже и Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна.

– Вот и проэкзаменовали! – вскричала она. – Что, милостивые государыни, вы думали, что вы же его будете протезировать, как бедненького, а он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада; а пуше всего Иван Федорович. Браво, князь, вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то все совершенная правда: я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала про это; вы именно выразили мою мысль в одном слове. Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим и очень рада; как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина и в Швейцарии не была; вот и вся разница.

– Не торопитесь, тамап, – вскричала Аглая, – князь говорит, что он во всех своих признаниях особую мысль имел и неспроста говорил.

– Да, да, – смеялись другие.

– Не туните, милые, еще он, может быть, похитрее всех вас трех вместе. Увидите. Но только что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет, и я жду.

– Я ничего не могу сейчас сказать; я скажу потом.

– Почему? Кажется, заметна?

– О да, заметна; вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.

– И только? А свойства? – настаивала генеральша.

– Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота – загадка.

– Это значит, что вы Аглае загадали загадку, – сказала Аделаида, – разгадай-ка, Аглая. А хороша она, князь, хороша?

– Чрезвычайно! – с жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Аглаю, – почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое!..

Все переглянулись в удивлении.

– Как кто-о-о? – протянула генеральша. – Как Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна?

– Давеча Гаврила Ардалионович Ивану Федоровичу портрет показывал.

– Как, Ивану Федоровичу портрет принес?

– Показать. Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принес показать.

– Я хочу видеть! – вскинулась генеральша. – Где этот портрет? Если ему подарила, так и должен быть у него, а он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит работать и никогда раньше четырех не уходит. Позвать сейчас Гаврилу Ардалионовича! Нет, я не слишком-то умираю от желания его видеть. Сделайте одолжение, князь, голубчик, сходите в кабинет, возьмите у него портрет и принесите сюда. Скажите, что посмотреть. Пожалуйста.

– Хорош, да уж простоват слишком, – сказал Аделаида, когда вышел князь.

– Да, уж что-то слишком, – подтвердила Александра, – так что даже и смешон немножко.

И та, и другая как будто не выговаривали всю свою мысль.

– Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся, – сказала Аглая, – всем польстил, даже и тамап.

– Не остри, пожалуйста, – вскричала генеральша. – Не он польстил, а я польщена.

– Ты думаешь, он вывертывался? – спросила Аделаида.

– Мне кажется, он не так простоват.

– Ну, пошла! – рассердилась генеральша. – А по-моему, вы еще его смешнее. Простоват, да себе на уме, в самом благородном отношении, разумеется. Совершенно как я.

«Конечно, скверно, что я про портрет проговорился, – соображал князь про себя, проходя в кабинет и чувствуя некоторое угрызение... – Но... может быть, я и хорошо сделал, что проговорился...» У него начинала мелькать одна странная идея, впрочем, еще не совсем ясная.

Гаврила Ардалионович еще сидел в кабинете и был погружен в свои бумаги. Должно быть, он действительно не даром брал жалованье из акционерного общества. Он страшно смутился, когда князь спросил портрет и рассказал, каким образом про портрет там узнали.

– Э-э-эх! И зачем вам было болтать! – вскричал он в злобной досаде. – Не знаете вы ничего... Идиот! – пробормотал он про себя.

– Виноват, я совершенно не думавши; к слову пришлось. Я сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасья Филипповна.

Ганя попросил рассказать подробнее; князь рассказал. Ганя вновь насмешливо посмотрел на него.

– Далась же вам Настасья Филипповна... – пробормотал он, но, не докончив, задумался. Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете. – Послушайте, князь, – сказал вдруг Ганя, как будто внезапная мысль осенила его, – у меня до вас есть огромная просьба... Но я, право, не знаю...

Он смутился и не договорил; он на что-то решался и как бы боролся сам с собой. Князь ожидал молча. Ганя еще раз испытующим, пристальным взглядом оглядел его.

– Князь, – начал он опять, – там на меня теперь... по одному совершенно странному обстоятельству... и смешному... и в котором я не виноват... ну, одним словом, это лишнее, – там на меня, кажется, немножко сердятся, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно нужно бы поговорить теперь с Аглаей Ивановной. Я на всякий случай написал несколько слов (в руках его очутилась маленькая сложенная бумажка) – и вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы, князь, передать Аглае Ивановне, сейчас, но только одной Аглае Ивановне, так то есть, чтоб никто не увидал, понимаете? Это не бог знает какой секрет, тут нет ничего такого... но... сделаете?

– Мне это не совсем приятно, – отвечал князь.

– Ах, князь, мне крайняя надобность! – стал просить Ганя. – Она, может быть, ответит... Поверьте, что я только в крайнем, в самом крайнем случае мог обратиться... С кем же мне послать?... Это очень важно... Ужасно для меня важно...

Ганя ужасно робел, что князь не согласится, и с трусливою просьбой заглядывал ему в глаза.

– Пожалуй, я передам.

– Но только так, чтобы никто не заметил, – умолял обрадованный Ганя, – и вот что, князь, я надеюсь ведь на ваше честное слово, а?

– Я никому не покажу, – сказал князь.

– Записка не запечатана, но... – проговорился было слишком суетившийся Ганя и остановился в смущении.

– О, я не прочту, – совершенно просто отвечал князь, взял портрет и пошел из кабинета. Ганя, оставшись один, схватил себя за голову.

– Одно ее слово, и я... и я, право, может быть, порву!..

Он уже не мог снова сесть за бумаги от волнения и ожидания и стал бродить по кабинету, из угла в угол.

Князь шел, задумавшись; его неприятно поразило поручение, неприятно поразила и мысль о записке Гани к Аглае. Но не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом, подошел к окну, ближе к свету, и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны.

Ему как бы хотелось разгадать что-то, скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно.

Но только что он вступил в столовую (еще через одну комнату от гостиной), с ним в дверях почти столкнулась выходившая Аглая. Она была одна.

– Гаврила Ардалионович просил меня вам передать, – сказал князь, подавая ей записку.

Аглая остановилась, взяла записку и как-то странно поглядела на князя. Ни малейшего смущения не было в ее взгляде, разве только проглянуло некоторое удивление, да и то, казалось, относившееся к одному только князю. Аглая своим взглядом точно требовала от него отчета, – каким образом он очутился в этом деле вместе с Ганей? – и требовала спокойно и свысока. Они простояли два-три мгновения друг против друга; наконец что-то насмешливое чуть-чуть обозначилось в лице ее; она слегка улыбнулась и прошла мимо.

Генеральша несколько времени, молча и с некоторым оттенком пренебрежения, рассматривала портрет Настасьи Филипповны, который она держала пред собой в протянутой руке, чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз.

– Да, хороша, – проговорила она наконец, – очень даже. Я два раза ее видела, только издали. Так вы такую-то красоту цените? – обратилась она вдруг к князю.

– Да... такую... – отвечал князь с некоторым усилием.

– То есть именно такую?

– Именно такую.

– За что?

– В этом лице... страдания много... – проговорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая.

– Вы, впрочем, может быть, бредите, – решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. Александра взяла его, к ней подошла Аделаида, обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая возвратилась опять в гостиную.

– Этакая сила! – вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры.

– Где? Какая сила? – резко спросила Лизавета Прокофьевна.

– Такая красота – сила, – горячо сказала Аделаида, – с этакою красотой можно мир перевернуть!

Она задумчиво отошла к своему мольберту. Аглая взглянула на портрет только мельком, прищурилась, выдвинула нижнюю губку, отошла и села к стороне, сложив руки.

Генеральша позвонила.

– Позвать сюда Гаврилу Ардалионовича, он в кабинете, – приказала она вошедшему слуге.

– Маман! – значительно воскликнула Александра.

– Я хочу ему два слова сказать – и довольно! – быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она была видимо раздражена. – У нас, видите ли, князь, здесь теперь всё секреты. Всё секреты! Так требуется, этикет какой-то, глупо. И это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки, не нравятся мне эти браки...

– Маман, что вы это? – опять поспешила остановить ее Александра.

– Чего тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравятся? А что князь слушает, так мы друзья. Я с ним по крайней мере. Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных ему не надо; капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать. Потому сердце главное, а остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно... может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу: дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца; обе мы и несчастны, обе и страдаем.

– Чем же вы уж так несчастны, татап? – не утерпела Аделаида, которая одна, кажется, из всей компании не утратила веселого расположения духа.

– Во-первых, от ученых дочек, – отрезала генеральша, – а так как этого и одного довольно, то об остальном нечего и распространяться. Довольно многословия было. Посмотрим, как-то вы обе (я Аглаю не считаю) с вашим умом и многословием вывернетесь, и будете ли вы, многоуважаемая Александра Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином?.. А!.. – воскликнула она, увидев входящего Ганю, – вот еще идет один брачный союз. Здравствуйте! – ответила она на поклон Гани, не пригласив его садиться. – Вы вступаете в брак?

– В брак?.. Как?.. В какой брак?.. – бормотал ошеломленный Гаврила Ардалионович. Он ужасно смешался.

– Вы женитесь? спрашиваю я, если вы только лучше любите такое выражение?

– Н-нет... я... н-нет, – солгал Гаврила Ардалионович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза. Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него, не отрывая глаз, и наблюдала его смущение.

– Нет? Вы сказали: нет? – настойчиво допрашивала неумолимая Лизавета Прокофьевна, – довольно, я буду помнить, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос сказали мне «нет». Что у нас сегодня, среда?

– Кажется, среда, татап, – ответила Аделаида.

– Никогда дней не знают. Которое число?

– Двадцать седьмое, – ответил Ганя.

– Двадцать седьмое? Это хорошо по некоторому расчету. Прощайте, у вас, кажется, много занятий, а мне пора одеваться и ехать; возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон несчастной Нине Александровне. До свидания, князь, голубчик! Заходи почаще, а я к старухе Белоконской нарочно заеду о тебе сказать. И послушайте, милый: я верую, что вас именно для меня бог привел в Петербург из Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное, для меня. Бог именно так рассчитал. До свидания, милые. Александра, зайти ко мне, друг мой.

Генеральша вышла. Ганя, опрокинутый, потерявшийся, злобный, взял со стола портрет и с искривленной улыбкой обратился к князю:

– Князь, я сейчас домой. Если вы не переменили намерения жить у нас, то я вас доведу, а то вы и адреса не знаете.

– Постойте, князь, – сказала Аглая, вдруг подымаясь с своего кресла, – вы мне еще в альбом напишете. Папа сказал, что вы каллиграф. Я вам сейчас принесу...

И она вышла.

– До свидания, князь, и я ухожу, – сказала Аделаида. Она крепко пожала руку князю, приветливо и ласково улыбнулась ему и вышла. На Ганю она не посмотрела.

– Это вы, – заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя, только что все вышли, – это вы разболтали им, что я женюсь! – бормотал он скорым полупшепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глазами, – бесстыдный вы болтунишка!

– Уверю вас, что вы ошибаетесь, – спокойно и вежливо отвечал князь, – я и не знал, что вы женитесь.

– Вы слышали давеча, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у Настасьи Филипповны, вы это и передали! Лжете вы! Откуда они могли узнать? Кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне?

– Вам лучше знать, кто передал, если вам только кажется, что вам намекали, я ни слова про это не говорил.

– Передали записку? Ответ? – с горячечным нетерпением перебил его Ганя. Но в самую эту минуту воротилась Аглая, и князь ничего не успел ответить.

– Вот, князь, – сказала Аглая, положив на столик свой альбом, – выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо, и еще новое. Ничего что стальное? Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут.

Разговаривая с князем, она как бы и не замечала, что Ганя тут же. Но покамест князь поправлял перо, отыскивал страницу и изготавлялся, Ганя подошел к камину, где стояла Аглая, сейчас справа подле князя, и дрожащим, прерывающимся голосом проговорил ей чуть не на ухо:

– Одно слово, одно только слово от вас, – и я спасен.

Князь быстро повернулся и посмотрел на обоих. В лице Гани было настоящее отчаяние; казалось, он выговорил эти слова как-то не думая, сломя голову. Аглая смотрела на него несколько секунд совершенно с тем же самым спокойным удивлением, как давеча на князя, и, казалось, это спокойное удивление ее, это недоумение, как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Гани ужаснее самого сильнейшего презрения.

– Что же мне написать? – спросил князь.

– А я вам сейчас продиктую, – сказала Аглая, поворачиваясь к нему, – готовы? Пишите же: «Я в торги не вступаю». Теперь подпишите число и месяц. Покажите.

Князь подал ей альбом.

– Превосходно! Вы удивительно написали; у вас чудесный почерк! Благодарю вас. До свидания, князь... Постойте, – прибавила она, как бы что-то вдруг припомнив, – пойдемте, я хочу вам подарить кой-что на память.

Князь пошел за нею; но, войдя в столовую, Аглая остановилась.

– Прочтите это, – сказала она, подавая ему записку Гани.

Князь взял записку и с недоумением посмотрел на Аглаю.

– Ведь я знаю же, что вы ее не читали и не можете быть поверенным этого человека. Читайте, я хочу, чтобы вы прочли.

Записка была, очевидно, написана наскоро:

«Сегодня решится моя судьба, вы знаете каким образом. Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно. Я не имею никаких прав на ваше участие, не смею иметь никаких надежд; но когда-то вы выговорили одно слово, одно только слово, и это слово озарило всю черную ночь моей жизни и стало для меня маяком. Скажите теперь еще одно такое же слово – и спасете меня от гибели! Скажите мне только: *разорви всё*, и я всё порву сегодня же. О, что вам стоит сказать это! В этом слове я испрашиваю только признак вашего участия и сожаления ко мне, – и только, *только*! И ничего больше, *ничего*! Я не смею задумать какую-нибудь надежду, потому что я недостоин ее. Но после вашего слова я приму вновь мою бедность, я с радостью стану переносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу, я рад буду ей, я воскресну в ней с новыми силами!

Пришлите же мне это слово сострадания (только *одного* сострадания, клянусь вам)! Не рассердитесь на дерзость отчаянного, на утопающего, за то, что он осмелился сделать последнее усилие, чтобы спасти себя от гибели.

Г. И.»

– Этот человек уверяет, – резко сказала Аглая, когда князь кончил читать, – что слово «разорвите всё» меня не скомпрометирует и не обяжет ничем, и сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию, этою самою запиской. Заметьте, как наивно поспешил он подчеркнуть некоторые словечки, и как грубо проглядывает его тайная мысль. Он, впрочем, знает, что если б он разорвал все, но сам, один, не ожидая моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, то я бы тогда переменяла мои чувства к нему и, может быть, стала бы его другом. Он это знает наверно! Но у него душа грязная: он знает и не решается; он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч, на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь. Но довольно; возьмите и отдайте ему записку назад, сейчас же, как выйдете из нашего дома, разумеется, не раньше.

– А что сказать ему в ответ?

– Ничего, разумеется. Это самый лучший ответ. Да вы, стало быть, хотите жить в его доме?

– Мне давеча сам Иван Федорович отрекомендовал, – сказал князь.

– Так берегитесь его, я вас предупреждаю; он теперь вам не простит, что вы ему возвратите назад записку.

Аглая слегка пожала руку князю и вышла. Лицо ее было серьезно и нахмурено, она даже не улыбнулась, когда кивнула князю головой на прощание.

– Я сейчас, только мой узелок возьму, – сказал князь Гане, – и мы выйдем.

Ганя топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства. Наконец, оба вышли на улицу, князь с своим узелком в руках.

– Ответ? Ответ? – накинулся на него Ганя. – Что она вам сказала? Вы передали письмо?

Князь молча подал ему его записку. Ганя остолбенел.

– Как? Моя записка! – вскричал он. – Он и не передавал ее! О, я должен был догадаться! О, пр-р-ро-клят... Понятно, что она ничего не поняла давеча! Да как же, как же, как же вы не передали, о, пр-р-ро-клят...

– Извините меня, напротив, мне тотчас же удалось передать вашу записку, в ту же минуту как вы дали, и точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Аглая Ивановна сейчас передала мне ее обратно.

– Когда? Когда?

– Только что я кончил писать в альбом, и когда она пригласила меня с собой. (Вы слышали?) Мы вошли в столовую, она подала мне записку, велела прочесть и велела передать вам обратно.

– Про-че-е-сть! – закричал Ганя чуть не во все горло. – прочесть! Вы читали?

И он снова стал в оцепенении среди тротуара, но до того изумленный, что даже разинул рот.

– Да, читал, сейчас.

– И она сама, сама вам дала прочесть? Сама?

– Сама, и поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения.

Ганя с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул:

– Быть не может! Она не могла вам велеть прочесть. Вы лжете! Вы сами прочли!

– Я говорю правду, – отвечал князь прежним, совершенно невозмутимым тоном, – и поверьте: мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление.

– Но, несчастный, по крайней мере она вам сказала же что-нибудь при этом? Что-нибудь ответила же?

– Да, конечно.

– Да говорите же, говорите, о, черт!..

И Ганя два раза топнул правой ногой, обутой в калошу, о тротуар.

– Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее ловите; что вы желали бы ее компрометировать так, чтобы получить от нее надежду, для того чтобы, опираясь на эту надежду, разорвать без убытку с другою надеждой на сто тысяч. Что если бы вы сделали это, не торгуясь с нею, разорвали бы всё сами, не прося у ней вперед гарантии, то она, может быть, и стала бы вашим другом. Вот и всё, кажется. Да, еще: когда я спросил, уже взяв записку, какой же ответ? тогда она сказала, что без ответа будет самый лучший ответ, – кажется, так; извините, если я забыл ее точное выражение, а передаю, как сам понял.

Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешенство его прорвалось без всякого удержу:

– А! Так вот как! – скрежетал он, – так мои записки в окно швырять! А! Она в торги не вступает, – так я вступлю! И увидим! За мной еще много... увидим!.. В бараний рог сверну!..

Он кривился, бледнел, пенился; он грозил кулаком. Так шли они несколько шагов. Князя он не церемонился нимало, точно был один в своей комнате, потому что в высшей степени считал его за ничто. Но вдруг он что-то сообразил и опомнился.

– Да каким же образом, – вдруг обратился он к князю, – каким же образом вы (идиот! – прибавил он про себя), вы вдруг в такой доверенности, два часа после первого знакомства? Как так?

Ко всем мучениям его доставало зависти. Она вдруг укусила его в самое сердце.

– Этого уж я вам не сумею объяснить, – ответил князь.

Ганя злобно посмотрел на него:

– Это уж не доверенность ли свою подарить вам позвала она вас в столовую? Ведь она вам что-то подарить собиралась?

– Иначе я и не понимаю, как именно так.

– Да за что же, черт возьми! Что вы там такое сделали? Чем понравились? Послушайте, – суетился он изо всех сил (все в нем в эту минуту было как-то разбросано и кипело в беспорядке, так что он и с мыслями собраться не мог), – послушайте, не можете ли вы хоть как-нибудь припомнить и сообразить в порядке, о чем вы именно там говорили, все слова, с самого начала? Не заметили ли вы чего, не упомните ли?

– О, очень могу, – отвечал князь, – с самого начала, когда я вошел и познакомился, мы стали говорить о Швейцарии.

– Ну, к черту Швейцарию!

– Потом о смертной казни...

– О смертной казни?

– Да; по одному поводу... потом я им рассказывал о том, как прожил там три года, и одну историю с одною бедною крестьянкой...

– Ну, к черту бедную крестьянку! Дальше! – рвался в нетерпении Ганя.

– Потом, как Шнейдер высказал мне свое мнение о моем характере и понудил меня...

– Провалиться Шнейдеру и наплевать на его мнения! Дальше!

– Дальше, по одному поводу, я стал говорить о лицах, то есть о выражениях лиц, и сказал, что Аглая Ивановна почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Вот тут-то я и проговорился про портрет...

– Но вы не пересказали, вы ведь не пересказали того, что слышали давеча в кабинете? Нет? Нет?

– Повторяю же вам, что нет.

– Да откуда же, черт... Ба! Не показала ли Аглая записку старухе?

– В этом я могу вас вполне гарантировать, что не показала. Я все время тут был; да и времени она не имела.

– Да, может быть, вы сами не заметили чего-нибудь... О! идиот пр-ро-клятый! – воскликнул он уже совершенно вне себя, – и рассказать ничего не умеет!

Ганя, раз начав ругаться и не встречая отпора, мало-помалу потерял всякую сдержанность, как это всегда водится с иными людьми. Еще немного, и он, может быть, стал бы плевать, до того уж он был взбешен. Но именно чрез это бешенство он и ослеп; иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот «идиот», которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать. Но вдруг произошло нечто неожиданное.

– Я должен вам заметить, Гаврила Ардалионович, – сказал вдруг князь, – что я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот; но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза. Хотя вас и можно извинить, взяв во внимание ваши неудачи, но вы в досаде вашей даже два раза меня выбрали. Мне это очень не хочется, особенно так, вдруг, как вы, с первого раза; и так как мы теперь стоим на перекрестке, то не лучше ли нам разойтись: вы пойдете направо к себе, а я налево. У меня есть двадцать пять рублей, и я наверно найду какой-нибудь отель-гарни.

Ганя ужасно смутился и даже покраснел от стыда.

– Извините, князь, – горячо вскричал он, вдруг переменяя свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость, – ради бога, извините! Вы видите, в какой я беде! Вы еще почти ничего не знаете, но если бы вы знали все, то наверно бы хоть немного извинили меня; хотя, разумеется, я неизвиним...

– О, мне и не нужно таких больших извинений, – поспешил ответить князь. – Я ведь понимаю, что вам очень неприятно, и потому-то вы и бранитесь. Ну, пойдемте к вам. Я с удовольствием...

«Нет, его теперь так отпустить невозможно, – думал про себя Ганя, злобно посматривая дорогой на князя, – этот плут выпытал из меня всё, а потом вдруг снял маску... Это что-то значит. А вот мы увидим! Всё разрешится, всё, всё! Сегодня же!»

Они уже стояли у самого дома.

VIII

Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но во всяком случае не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и две тысячи рублей жалованья. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей и его семейством не более двух месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардалионовны, пожелавших в свою очередь быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием; ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться, как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота, – всё это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякою мелочью безмерно и непропорционально, и если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую, – такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего.

Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те три комнаты, которые назначались внаем, для «особенно рекомендованных» жильцов; кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась четвертая комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был чрез кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и тринадцатилетний брат Гаврилы Ардалионовича, гимназист Коля; ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом, весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне и, главное, ходить и *смотреть* за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из трех комнат; в первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной: это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось; Ганя только скрипел про себя зубами; он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе.

Нина Александровна была в гостиной не одна, с нею сидела Варвара Ардалионовна; обе они занимались каким-то вязаньем и разговаривали с гостем, Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет пятидесяти, с худым, осунувшимся лицом и с сильною чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны; с первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном, и совсем по-старушечьи, но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, выдавшую и лучшее общество.

Варвара Ардалионовна была девица лет двадцати трех, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда слишком даже, осо-

бенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардалионовна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побоялся ее и сидевший теперь у них гость, Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под тридцать, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русская борода обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был видимо равнодушен к Варваре Ардалионовне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардалионовна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила; Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем.

На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани (который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына) Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле свести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивою и простодушною манерой.

– Где же ваша поклажа? – спросил он, вводя князя в комнату.

– У меня узелок; я его в передней оставил.

– Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да Матрена, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?

– Да.

– А хорошо в Швейцарии?

– Очень.

– Горы?

– Да.

– Я вам сейчас ваши узлы притащу.

Вошла Варвара Ардалионовна.

– Вам Матрена сейчас белье постелет. У вас чемодан?

– Нет, узелок. За ним ваш брат пошел; он в передней.

– Никакого там узла нет, кроме этого узелочка; вы куда положили? – спросил Коля, возвращаясь опять в комнату.

– Да кроме этого и нет никакого, – возвестил князь, принимая свой узелок.

– А-а! А я думал, не утащил ли Фердыщенко.

– Не ври пустяков, – строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо.

– Chère Babette, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын.

– Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрене; обедают в половине пятого. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им.

– Пойдемте, решительный характер!

Выходя, они столкнулись с Ганей.

– Отец дома? – спросил Ганя Колю и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо.

Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионовной.

– Два слова, князь, я и забыл вам сказать за этими... делами. Некоторая просьба: сделайте одолжение, – если только вам это не в большую натуру будет, – не болтайте ни здесь, о том, что

у меня с Аглаей сейчас было, ни *там*, о том, что вы здесь найдете; потому что и здесь тоже безобразия довольно. К черту, впрочем... Хоть сегодня-то по крайней мере удержитесь.

– Уверю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете, – сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились видимо хуже и хуже.

– Ну, да уж я довольно перенес чрез вас сегодня. Одним словом, я вас прошу.

– Еще и то заметьте, Гаврила Ардалионович, чем же я был давеча связан, и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили.

– Фу, какая скверная комната, – заметил Ганя, презрительно осматриваясь, – темно и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя... Ну, да это не мое дело; не я квартиры содержу.

Заглянул Птицын и кликнул Ганю; тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то что он еще что-то хотел сказать, но видимо мялся и точно стыдился начать; да и комнату обругал тоже, как будто сконфузившись.

Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура.

Это был господин лет тридцати, не малого роста, плечистый, с огромною, курчавою, рыжеватою головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые; нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто непрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато.

Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд пять оглядывала комнату; потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге, но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван.

– Фердыщенко, – проговорил он, пристально и вопросительно засматривая князю в лицо.

– Так что же? – отвечал князь, почти рассмеявшись.

– Жилец, – проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему.

– Хотите познакомиться?

– Э-эх! – проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. – У вас деньги есть? – спросил он вдруг, обращаясь к князю.

– Немного.

– Сколько именно?

– Двадцать пять рублей.

– Покажите-ка.

Князь вынул двадцатипятирублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенко. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет.

– Довольно странно, – проговорил он как бы в раздумье, – отчего бы им буреть? Эти двадцатипятирублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линияют. Возьмите.

Князь взял свой билет обратно. Фердыщенко встал со стула.

– Я пришел вас предупредить: во-первых, мне денег займы не давать, потому что я непременно буду просить.

– Хорошо.

– Вы платить здесь намерены?

– Намерен.

– А я не намерен; спасибо. Я здесь от вас направо первая дверь, видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать; к вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?

– Нет.

– И не слышали?

– Конечно, нет.

– Ну, так увидите и услышите; да к тому же он даже у меня просит денег взаймы! *Avis au lecteur*.⁵ Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?

– Отчего же нет?

– Прощайте.

И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, отчего он искренно скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина; пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без апломба.

Новый господин был высокого роста, лет пятидесяти пяти, или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями; белье тоже было засаленное, – по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой; но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю, не спеша, с приветливою улыбкой, молча взял его руку, и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты.

– Он! Он! – проговорил он тихо, но торжественно, – как живой! Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое... Князь Мышкин?

– Точно так-с.

– Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить?

– Лев Николаевич.

– Так, так! Сын моего друга, можно сказать, товарища детства, Николая Петровича?

– Моего отца звали Николаем Львовичем.

– Львович, – поправился генерал, но не спеша, а с совершенною уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел, и, тоже взяв князя за руку, посадил подле себя. – Я вас на руках носил-с.

– Неужели? – спросил князь. – Мой отец уж двадцать лет как умер.

– Да; двадцать лет; двадцать лет и три месяца. Вместе учились; я прямо в военную...

– Да и отец был в военной, подпоручиком в Васильковском полку.

– В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка...

Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания.

– Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды, – сказал князь.

– Не от простуды. Не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил. С горя по своему князю, а не от простуды. Да-с, памятна мне и княгиня! Молодость! Из-за нее мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами.

Князь начинал слушать с некоторою недоверчивостью.

– Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, – невестой друга моего. Князь заметил и был фраппирован. Приходит ко мне утром в седьмом часу, будит. Одеваюсь с изумлением; молчание с обеих сторон; я всё понял. Вынимает из кармана два пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели, когда чрез пять минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянул и платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули

⁵ Предупреждение (фр.).

руки. У обоих, у обоих, разом! Ну, тут, натурально, объятия и взаимная борьба великодушия. Князь кричит: твоя, я кричу: твоя! Одним словом... одним словом... вы к нам... жить?

– Да, на некоторое время, быть может, – проговорил князь, как бы несколько заикаясь.

– Князь, мамаша вас к себе просит, – крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану.

– Как истинный друг отца вашего, желаю предупредить, – сказал генерал, – я, вы видите сами, я пострадал, по трагической катастрофе; но без суда! Без суда! Нина Александровна – женщина редкая. Варвара Ардалионовна, дочь моя, – редкая дочь! По обстоятельствам содержания квартиры – падение неслыханное! Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором!.. Но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия!

Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством.

– Приготавливается брак, и брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена! Но покамест я дышу, она не войдет! Я лягу на пороге, и пусть перешагнет чрез меня!.. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно; коли будете жить у нас, всё равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться...

– Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную, – позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей.

– Вообрази, друг мой, – вскричал генерал, – оказывается, что я нянчил князя на руках моих!

Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею; но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и вполголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимою досадой нагнулась к своему вязанью. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа.

– Сын моего друга! – вскричал он, обращаясь к Нине Александровне, – и так неожиданно! Я давно уже и воображать перестал. Но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его... В Твери?

– Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец? – спросила она князя.

– Отец; но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде, – робко заметил князь генералу. – Я слышал от Павлищева...

– В Твери, – подтвердил генерал, – перед самою смертью состоялся перевод в Тверь, и даже еще пред развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомянуть ни перевода, ни путешествия; Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек.

– Вы знали и Павлищева?

– Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре...

– Отец мой ведь умер под судом, – заметил князь снова, – хоть я и никогда не мог узнать, за что именно; он умер в госпитале.

– О, это по делу о рядовом Колпакове, и, без сомнения, князь был бы оправдан.

– Так? Вы наверно знаете? – спросил князь с особенным любопытством.

– Еще бы! – вскричал генерал. – Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное! Дело даже, можно сказать, таинственное: умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир; князь на время назначается исправляющим должность; хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу, – сапожный товар у товарища, – и пропивает его; хорошо. Князь, – и заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, – распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Колпакова хоронят;

князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше? Но ровно через полгода, на бригадном смотре, рядовой Колпаков как ни в чем не бывало оказывается в третьей роте второго батальона Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии!

– Как! – вскричал князь вне себя от удивления.

– Это не так, это ошибка! – обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. – *Mon mari se trompe*.⁶

– Но, друг мой, *se trompe*, это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай! Все стали в тупик. Я первый сказал бы *qu'on se trompe*.⁷ Но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный, я соглашаюсь, но...

– Папаша, вам обедать накрыли, – возвестила Варвара Ардалионовна, входя в комнату.

– А, это прекрасно, превосходно! Я таки проголодался... Но случай, можно сказать, даже психологический...

– Суп опять простынет, – с нетерпением сказала Варя.

– Сейчас, сейчас, – бормотал генерал, выходя из комнаты. – И несмотря ни на какие справки, – слышалось еще в коридоре.

– Вы должны будете многое извинить Ардалиону Александровичу, если у нас останетесь, – сказала Нина Александровна князю, – он, впрочем, вас очень не беспокоит; он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои... особенные черты, у других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить: если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Ардалиону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло, но я единственно для аккуратности вас прошу... Что это, Варя?

Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю.

– Ему сегодня подарок от нее самой, – сказала Варя, – а вечером у них всё решается.

– Сегодня вечером! – как бы в отчаянии повторила вполголоса Нина Александровна. – Что же? Тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается: портретом всё возвестила... Да он тебе сам, что ли, показал? – прибавила она в удивлении.

– Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про все сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся; я подняла.

– Князь, – обратилась к нему вдруг Нина Александровна, – я хотела вас спросить (для того, собственно, и попросила вас сюда), давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали?

Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали.

– Я не выпытываю чего-нибудь о Гавриле Ардалионовиче, вас расспрашивая, – заметила Нина Александровна, – вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча Ганя при вас, и потом когда вы ушли, на вопрос мой о вас, отвечал мне: «Он всё знает, церемониться нечего!» Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере...

Вошли вдруг Ганя и Птицын; Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону; портрет Настасьи Филипповны лежал на самом

⁶ Мой муж ошибается (фр.).

⁷ Мой муж ошибается (фр.).

видном месте, на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты.

– Сегодня, Ганя? – спросила вдруг Нина Александровна.

– Что сегодня? – встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя. – А, понимаю, вы уж и тут!.. Да что у вас, наконец, болезнь это, что ли, какая? Удержаться не можете? Да ведь поймите же наконец, ваше сиятельство...

– Тут я виноват, Ганя, а не кто другой, – прервал Птицын.

Ганя вопросительно поглядел на него.

– Да ведь это лучше же, Ганя, тем более что, с одной стороны, дело покончено, – пробормотал Птицын и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурный и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться.

– Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав, – сказала Нина Александровна, – не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя, я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась, сделай одолжение, не беспокойся.

Она проговорила это, не отрываясь от работы и, казалось, в самом деле спокойно. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькою улыбкой прибавила:

– Ты всё еще сомневаешься и не веришь мне; не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны по крайней мере. Всё мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь; я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой, останемся ли мы вместе, или разойдемся. Разумеется, я отвечаю только за себя; ты не можешь того же требовать от сестры...

– А, опять она! – вскричал Ганя, насмешливо и ненавистно смотря на сестру. – Маменька! клянусь вам в том опять, в чем уже вам давал слово: никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настою на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел чрез наш порог...

Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать.

– Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь; я не о себе беспокоилась и промучилась всё это время. Говорят, сегодня всё у вас кончится? Что же, кончится?

– Сегодня вечером, у себя, она обещала объявить: согласна или нет, – ответил Ганя.

– Мы чуть не три недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже всё кончено, я только одно позволю себе спросить: как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее, такую... такую...

– Ну, опытную, что ли?

– Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?

Необыкновенная раздражительность слышалась вдруг в этом вопросе, Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил:

– Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели, и вот так-то у нас всегда всё начиналось и разгоралось. Вы сказали: не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались! Оставим лучше; право, оставим; по крайней мере у вас намерение было... Я никогда и ни за что вас не оставляю; другой от такой сестры убежал бы по крайней мере, – вон как она смотрит на меня теперь! Кончим на этом! Я уж так было обрадовался... И почему вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари – как ей угодно, и – довольно. Ну, уж теперь совсем довольно!

Ганя разгорячился с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в болезненное место у всех членов семейства.

– Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу, – сказала Варя.

– Из упрямства! – вскричал Ганя. – Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ардалионовна; угодно – хоть сейчас исполняйте ваше намерение. Надоели вы мне уж очень. Как! Вы решаетесь наконец нас оставить, князь! – закричал он князю, увидав, что тот встает с места.

В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению, предается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только недоставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствия стал еще шумнее и откровеннее.

Он прошел чрез залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик; но в колокольчике, должно быть, что-то испортилось: он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и – отступил в изумлении, весь даже вздрогнул: пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидела; она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу:

– Если лень колокольчик поправить, так по крайней мере в прихожей бы сидел, когда стучатся. Ну, вот теперь шубу уронил, олух!

Шуба действительно лежала на полу; Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя, сзади, но князь не успел принять.

– Прогнать тебя надо. Ступай, доложи.

Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил и с шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную.

– Ну, вот теперь с шубой идет! Шубу-то зачем несешь? Ха, ха, ха! Да ты сумасшедший, что ли?

Князь воротился и глядел на нее как истукан; когда она засмеялась – усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен, теперь вдруг краска залила его лицо.

– Да что это за идиот? – в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. – Ну, куда ты идешь? Ну, кого ты будешь докладывать?

– Настасью Филипповну, – пробормотал князь.

– Почему ты меня знаешь? – быстро спросила она его. – Я тебя никогда не видала! Ступай, докладывай... Что там за крик?

– Бранятся, – ответил князь и пошел в гостиную.

Он вошел в довольно решительную минуту: Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она «всемирно покорилась»; она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица; но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил:

– Настасья Филипповна!

IX

Общее молчание воцарилось; все смотрели на князя, как бы не понимая его и – не желая понять. Ганя оцепенел от испуга.

Приезд Настасьи Филипповны, и особенно в настоящую минуту, был для всех самую странно и хлопотливою неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз; до сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными, а в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Ганя хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкостей над своим семейством, а не визита к нему; он знал наверно, что ей известно всё, что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее, *теперь*, после подарка портрета и в день своего рождения, в день, в который она обещала решить его судьбу, означал чуть не самое это решение.

Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго: Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и опять, входя в комнату, слегка оттолкнула князя.

– Наконец-то удалось войти... зачем это вы колокольчик привязываете? – весело проговорила она, подавая руку Гане, бросившемуся к ней со всех ног. – Что это у вас такое опрокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста...

Совсем потерявшийся Ганя отрекомендовал ее сперва Варя, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась и маскировалась веселостью; но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально; даже и тени улыбки, что уже требовалось простою вежливостью, не показалось в ее лице. Ганя обмер; спрашивать было уже нечего и некогда, и он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла, по силе этого взгляда, что значила для ее брата эта минута. Тут она, кажется, решилась уступить ему и чуть-чуть улыбнулась Настасье Филипповне. (Все они в семействе еще слишком любили друг друга.) Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасье Филипповне. Но только что Нина Александровна успела было начать о своем «особенном удовольствии», как Настасья Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась к Гане, и, садясь (без приглашения еще) на маленький диванчик, в углу у окна, вскричала:

– Где же ваш кабинет? И... и где жильцы? Ведь вы жильцов содержите?

Ганя ужасно покраснел и заикнулся было что-то ответить, но Настасья Филипповна тотчас прибавила:

– Где же тут держать жильцов? У вас и кабинета нет. А выгодно это? – обратилась она вдруг к Нине Александровне.

– Хлопотливо несколько, – отвечала было та, – разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что...

Но Настасья Филипповна опять уже не слушала: она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему:

– Что у вас за лицо? О, боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!

Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось: его столбняк, его комическая, трусливая потерянная вдруг сошла с него; но он ужасно побледнел; губы закривились от судорги; он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гостьи, продолжавшей смеяться.

Тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде Настасьи Филипповны; но он хоть и стоял «столбом», на прежнем месте своем, в

дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед.

– Выпейте воды, – прошептал он Гане. – И не глядите так...

Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особенного замысла, так, по первому движению; но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя: он схватил его за плечо, и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение: Нина Александровна слегка даже вскрикнула, Птицын шагнул вперед в беспокойстве, Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении, одна Варя по-прежнему смотрела исподлобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди.

Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения, и нервно захохотал. Он совершенно опомнился.

– Да что вы, князь, доктор, что ли? – вскричал он, по возможности веселее и простодушнее, – даже испугал меня; Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам, это преддрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком.

Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя.

– Князь? Он князь? Вообразите, а я давеча, в прихожей, приняла его за лакея и сюда докладывавать послала! Ха, ха, ха!

– Нет беды, нет беды! – подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться, – нет беды: se pop и vego...⁸

– Да чуть ли еще не бранила вас, князь. Простите, пожалуйста. Фердыщенко, вы-то как здесь, в такой час? Я думала, по крайней мере хоть вас не застаю. Кто? Какой князь? Мышкин? – переспросила она Ганю, который между тем, все еще держа князя за плечо, успел рекомендовать его.

– Наш жилец, – повторил Ганя.

Очевидно, князя представляли как что-то редкое (и пригodiвшееся всем как выход из фальшивого положения), чуть не совали к Настасье Филипповне; князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется, Фердыщенкой, в пояснение Настасье Филипповне.

– Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно... в вас ошиблась? – продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремонным образом; она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться.

– Я удивился, увидя вас так вдруг... – пробормотал было князь.

– А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбняющего?

– Ну же, ну! – продолжал гримасничать Фердыщенко, – да ну же! О, господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же... Пентюх же ты, князь, после этого!

– Да и я бы насказал на вашем месте, – засмеялся князь Фердыщенке. – Давеча меня ваш портрет поразил очень, – продолжал он Настасье Филипповне, – потом я с Епанчинными про вас говорил... а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин... И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы.

– А как же вы меня узнали, что это я?

– По портрету и...

⁸ если и не верно... (ит.).

– И еще?

– И еще по тому, что такую вас именно и воображал... Я вас тоже будто видел где-то.

– Где? Где?

– Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...

– Ай да князь! – закричал Фердыщенко. – Нет, я свое: se non e vero – беру назад. Впрочем... впрочем, ведь это он всё от невинности! – прибавил он с сожалением.

Князь проговорил свои несколько фраз голосом беспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Всё выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий, новый голос, послышавшийся из-за толпы, плотно обступившей князя и Настасью Филипповну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасьей Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке; усы его были нафабрены...

Этого уже Ганя не мог вынести.

Самолюбивый и тщеславный до мнительности, до ипохондрии; искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее; чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит; с отчаяния решившийся наконец у себя дома, где был деспотом, на полную наглость, но не смеявшийся решиться на это перед Настасьей Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшей над ним верх; «нетерпеливый нищий», по выражению самой Настасьи Филипповны, о чем ему уже было донесено; поклявшийся всеми клятвами больно наверстать ей всё это впоследствии, и в то же время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, – он должен теперь испытать еще эту ужасную чашу, и, главное, в такую минуту! Еще одно непредвиденное, но самое страшное истязание для тщеславного человека, – мука краски за своих родных, у себя же в доме, выпала ему на долю. «Да стоит ли наконец этого само вознаграждение!» – промелькнуло в это мгновение в голове Гани.

В эту самую минуту происходило то, что снилось ему в эти два месяца только по ночам, в виде кошмара, и леденило его ужасом, сжигало стыдом: произошла наконец семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал было представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и поскорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду; но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться и дал себе слово во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя, хоть на время, и стусевать его, если возможно, даже из Петербурга, согласна или не согласна будет на то мать. Десять минут назад, когда входила Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Ардалиона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись и во фраке, и именно в то самое время, когда Настасья Филипповна «только случая ищет, чтоб осыпать его и его домашних насмешками». (В этом он был убежден.) Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит, как не это? Сдружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их у него же в доме приехала она? Но по тому, как расположились обе стороны, сомнений уже быть не могло: его мать и сестра сидели в стороне как оплеванные, а Настасья Филипповна даже и позабыла, кажется, что они в одной с нею комнате... И если так ведет себя, то, конечно, у ней есть своя цель!

Фердыщенко подхватил генерала и подвел его.

– Ардалион Александрович Иволгин, – с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал, – старый, несчастный солдат и отец семейства, счастливого надеждой заключать в себе такую прелестную...

Он не закончил; Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько слабый в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся или, лучше сказать, упал на стул, но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятно ужимкой, медленно и эффектно, поднес ее пальчики к губам своим. Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, всё еще была довольно прилична, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде и в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего только года два-три назад. С этого же срока и предался он слишком уже без удержу некоторым своим слабостям; но ловкая и приятная манера оставалась в нем и доселе. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Ардалиона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке.

– Я слышал, что сын мой... – начал было Ардалион Александрович.

– Да, сын ваш! Хороши и вы тоже, папенька-то! Почему вас никогда не видать у меня? Что, вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя.

– Дети девятнадцатого века и их родители... – начал было опять генерал.

– Настасья Филипповна! Отпустите, пожалуйста, Ардалиона Александровича на одну минуту, его спрашивают, – громко сказала Нина Александровна.

– Отпустить! Помилуйте, я так много слышала, так давно желала видеть! И какие у него дела? Ведь он в отставке? Вы не оставите меня, генерал, не уйдете?

– Я даю вам слово, что он придет к вам сам, но теперь он нуждается в отдыхе.

– Ардалион Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе! – вскрикнула Настасья Филипповна с недовольною и брезгливою гримаской, точно ветренная дурочка, у которой отнимают игрушку.

Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение.

– Друг мой! Друг мой! – укорительно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положив руку на сердце.

– Вы не уйдете отсюда, маменька? – громко спросила Варя.

– Нет, Варя, я досижу до конца.

Настасья Филипповна не могла не слышать вопроса и ответа, но веселость ее оттого как будто еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами, и через пять минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих.

Коля дернул князя за фалду.

– Да уведите хоть вы его как-нибудь! Нельзя ли? Пожалуйста! – И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. – О, проклятый Ганька! – прибавил он про себя.

– С Иваном Федоровичем Епанчиным я действительно бывал в большой дружбе, – разлился генерал на вопросы Настасьи Филипповны. – Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные, так сказать, кавалькада: Атос, Портос и Арамис. Но увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами и еще борется с клеветами и пулями...

– С пулями! – вскричала Настасья Филипповна.

– Они здесь, в груди моей, а получены под Карсом, и в дурную погоду я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся от дел буржуа, в шашки и читаю «Independance».⁹ Но с нашим Портосом, Епанчиным, после третьегоней истории на железной дороге по поводу болонки, покончено мною окончательно.

⁹ «Независимость» (фр.).

– Болонки! Это что же такое? – с особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. – С болонкой? Позвольте, и на железной дороге!.. – как бы припоминала она.

– О, глупая история, не стоит и повторять: из-за гувернантки княгини Белоконской, мистрис Шмидт, но... не стоит и повторять.

– Да непременно же расскажите! – весело воскликнула Настасья Филипповна.

– И я еще не слыхал! – заметил Фердыщенко. – *C'est du nouveau*.¹⁰

– Ардалион Александрович! – раздался опять умоляющий голос Нины Александровны.

– Папенька, вас спрашивают, – крикнул Коля.

– Глупая история и в двух словах, – начал генерал с самодовольством. – Два года назад, да! без малого, только что последовало открытие новой – ской железной дороги, я (и уже в штатском пальто), хлопоча о чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, взял билет, в первый класс: вошел, сижу, курю. То есть продолжаю курить, я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется; так, полупозволяется, по обыкновению; ну, и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг, перед самым свистком, помещаются две дамы с болонкой, прямо насупротив; опоздали, одна пышнейшим образом разодета, в светло-голубом; другая скромнее, в шелковом черном, с перелинкой. Недурны собой, смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего; курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому окно открыто, в окно. Болонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость. Ошейник серебряный с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дамы, кажется, сердятся, за сигару, конечно. Одна в лорнет уставилась, черепаховый. Я опять-таки ничего: потому ведь ничего же не говорят! Если бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же, наконец, язык человеческий! А то молчат... вдруг, – и это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самонаименования, так-таки совершенно как бы с ума спятила, – светло-голубая хват у меня из руки сигару и за окно. Вагон летит, гляжу как полоумный. Женщина дикая; дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния; а впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная (слишком даже), глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенною вежливостью, с совершеннейшею вежливостью, с утонченнейшею, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к болонке, беру деликатно за шиворот, и шварк ее за окошко, вслед за сигаркой! Только взвизгнула! Вагон продолжает лететь...

– Вы изверг! – крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки как девочка.

– Браво, браво! – кричал Фердыщенко. Усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала; даже Коля засмеялся и тоже крикнул: «Браво!» – И я прав, я прав, трижды прав! – с жаром продолжал торжествующий генерал, – потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно.

– Браво, папаша! – восторженно вскричал Коля, – великолепно! Я бы непременно, непременно то же бы самое сделал!

– Но что же барыня? – с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна.

– Она? Ну, вот тут-то вся неприятность и сидит, – продолжал, нахмурившись, генерал, – ни слова не говоря, и без малейшего как есть предупреждения, она хват меня по щеке! Дикая женщина; совершенно из дикого состояния!

– А вы?

Генерал опустил глаза, поднял брови, поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил:

– Увлёкся!

– И больно? Больно?

¹⁰ Это что-то новое (фр.).

– Ей-богу, не больно! Скандал вышел, но не больно. Я только один раз отмахнулся, единственно только чтоб отмахнуться. Но тут сам сатана и подвертел: светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка, или даже какой-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье, та была старшая из княжон Белоконских, старая дева лет тридцати пяти. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Епанчина к дому Белоконских. Все княжны в обмороке, слезы, траур по фаворитке болонке, визг шестерых княжон, визг англичанки, – светопреставление! Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал, не приняли ни меня, ни письма, а с Епанчиным раздоры, исключение, изгнание!

– Но позвольте, как же это? – спросила вдруг Настасья Филипповна. – Пять или шесть дней назад я читала в «Independance» – а я постоянно читаю «Independance», – точно такую же историю! Но решительно точно такую же! Это случилось на одной из прирейнских железных дорог, в вагоне, с одним французом и англичанкой: точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута за окно болонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое!

Генерал покраснел ужасно, Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову; Птицын быстро отвернулся. Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего: он все время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку.

– Уверяю же вас, – пробормотал генерал, – что и со мной точно то же случилось...

– У папаши действительно была неприятность с мистрис Шмидт, гувернанткой у Белоконских, – вскричал Коля, – я помню.

– Как! Точь-в-точь? Одна и та же история на двух концах Европы и точь-в-точь такая же во всех подробностях, до светло-голубого платья! – настаивала безжалостная Настасья Филипповна. – Я вам «Independance Belge» пришлю!

– Но заметьте, – все еще настаивал генерал, – что со мной произошло два года раньше...

– А, вот разве это!

Настасья Филипповна хохотала как в истерике.

– Папенька, я вас прошу выйти на два слова, – дрожащим, измученным голосом проговорил Ганя, машинально схватив отца за плечо. Бесконечная ненависть кипела в его взгляде.

В это самое мгновение раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять.

X

В прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно илюдно; из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек и все еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом; говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую дверь из прихожей, как слышно было, не затворялась. Визит оказывался чрезвычайно странный. Все переглянулись; Ганя бросился в залу, но и в залу уже вошло несколько человек.

– А, вот он, Иуда! – вскрикнул знакомый князю голос. – Здравствуй, Ганька, подлец!

– Он, он самый и есть! – поддакнул другой голос. Сомневаться князю было невозможно: один голос был Рогожина, а другой Лебедева.

Ганя стоял как бы в оцепении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного за другим человек десяти или двенадцати, вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе. Все, казалось, нуждались друг в друге, чтобы войти; ни у одного не достало бы отдельно смелости, но все друг друга как бы подталкивали. Даже и Рогожин ступал осторожно во главе толпы, но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно-озабоченным. Остальные же составляли только хор, или, лучше сказать, шайку для поддержки. Кроме Лебедева, тут был и завитой Залёжев, сбросивший свою шубу в передней и вошедший развязно и щеголем, и подобные ему два-три господина, очевидно, из купчиков. Какой-то в полувоенном пальто; какой-то маленький и чрезвычайно толстый человек, беспрестанно смеявшийся; какой-то огромный, вершков двенадцати, господин, тоже необычайно толстый, чрезвычайно мрачный и молчаливый и, очевидно, сильно надевавшийся на свои кулаки. Был один медицинский студент; был один увивавшийся полячок. С лестницы заглядывали в прихожую, но не решаясь войти, две какие-то дамы; Коля захлопнул дверь перед их носом и заложил крючком.

– Здравствуй, Ганька, подлец! Что, не ждал Парфена Рогожина? – повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной, прямо против себя, Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление; он так побледнел, что даже губы его посинели. – Стало быть, правда! – проговорил он тихо и как бы про себя, с совершенно потеряннным видом, – конец!.. Ну... Ответишь же ты мне теперь! – проскрежетал он вдруг, с неистовою злобой смотря на Ганю... – Ну... ах!..

Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю, и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на всё свое волнение. За ним прошел Лебедев, не отстававший от него как тень и уже сильно пьяный, затем студент, господин с кулаками, Залёжев, раскланивавшийся направо и налево, и, наконец, протискивался коротенький толстяк. Присутствие дам всех их еще несколько сдерживало и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до *начала*, до первого повода вскрикнуть и *начать* ... Тут уж никакие дамы не помешали бы.

– Как? И ты тут, князь? – рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. – Всё в штиблетишках, э-эх! – вздохнул он, уже забыв о князе и переводя взгляд опять на Настасью Филипповну, всё подвигаясь и притягиваясь к ней, как к магниту.

Настасья Филипповна тоже с беспокойным любопытством глядела на гостей.

Ганя наконец опомнился.

– Но позвольте, что же это наконец значит? – громко заговорил он, строго оглядев вошедших и обращаясь преимущественно к Рогожину. – Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа, здесь моя мать и сестра...

– Видим, что мать и сестра, – процедил сквозь зубы Рогожин.

– Это и видно, что мать и сестра, – поддакнул для контенансу Лебедев.

Господин с кулаками, вероятно, полагая, что пришла минута, начал что-то ворчать.

– Но, однако же! – вдруг и как-то не в меру, взрывом, возвысил голос Ганя, – во-первых, прошу отсюда всех в залу, а потом позвольте узнать...

– Вишь, не узнает! – злобно осклабился Рогожин, не трогаясь с места. – Рогожина не узнал?

– Я, положим, с вами где-то встречался, но...

– Вишь, где-то встречался! Да я тебе всего только три месяца двести рублей отцовских проиграл, с тем и умер старик, что не успел узнать; ты меня затащил, а Книф передергивал. Не узнаешь? Птицын-то свидетелем! Да покажи я тебе три целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках, – вот ты каков! Душа твоя такова! Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить, ты не смотри, что я в таких сапогах вошел, у меня денег, брат, много, всего тебя и со всем твоим живьем куплю... захочу, всех вас куплю! Всё куплю! – разгорячился и как бы хмелел все более и более Рогожин. – Э-эх! – крикнул он. – Настасья Филипповна! Не прогоните, скажите словцо: венчаетесь вы с ним или нет?

Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа.

Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом, но взглянула на Варю и на Нину Александровну, поглядела на Ганю и вдруг переменила тон.

– Совсем нет, что с вами? И с какой стати вы вздумали спрашивать? – ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением.

– Нет? Нет!! – вскричал Рогожин, приходя чуть не в исступление от радости, – так нет же?! А мне сказали они... Ах! Ну!.. Настасья Филипповна! Они говорят, что вы помолвились с Ганькой! С ним-то? Да разве это можно? (Я им всем говорю!) Да я его всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу, ну три, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец! Ведь уж взял бы три тысячи! Вот они, вот! С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять; сказал: куплю, – и куплю!

– Ступай вон отсюда, ты пьян! – крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя.

За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов; вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину.

– Правда, чиновник! – ответил Рогожин, – правда, пьяная душа! Эх, куда ни шло. Настасья Филипповна! – вскричал он, глядя на нее как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости, – вот восемнадцать тысяч! – И он шаркнул пред ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. – Вот! И... и еще будет!

Он не осмелился договорить, чего ему хотелось.

– Ни-ни-ни! – зашептал ему снова Лебедев, с страшно испуганным видом; можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего.

– Нет, уж в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашел... да, видно, и я дурак с тобой вместе! – спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. – Э-эх! соврал я, тебя послушался, – прибавил он с глубоким раскаянием.

Настасья Филипповна, взглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась:

– Восемнадцать тысяч, мне? Вот сейчас мужик и скажется! – прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.

– Так сорок же тысяч, сорок, а не восемнадцать, – закричал Рогожин. – Ванька Птицын и Бискуп к семи часам обещались сорок тысяч представить. Сорок тысяч! Все на стол.

Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно, молча, ждали, до чего это дойдет; глаза Вари сверкали, и на Нину Александровну всё это действовало болезненно; она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок.

– А коли так – сто! Сегодня же сто тысяч представлю! Птицын, выручай, руки нагреешь!

– Ты с ума сошел! – прошептал вдруг Птицын, быстро подходя к нему и хватая его за руку, – ты пьян, за будочниками пошлют. Где ты находишься?

– Спьяна врет, – проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его.

– Так не вру же, будут! К вечеру будут. Птицын, выручай, процентная душа, что хошь бери, доставай к вечеру сто тысяч; докажу, что не постою! – одушевился вдруг до восторга Рогожин.

– Но, однако, что же это такое? – грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ардалион Александрович, приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки молчавшего старика придавала ей много комизма. Послышался смех.

– Это еще откуда? – засмеялся Рогожин. – Пойдем, старик, пьян будешь!

– Это уж подло! – крикнул Коля, совсем плача от стыда и досады.

– Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтоб эту бесстыжую отсюда вывести! – вскрикнула вдруг, вся трепеща от гнева, Варя.

– Это меня-то бесстыжею называют! – с пренебрежительною веселостью отпарировала Настасья Филипповна. – А я-то как дура приехала их к себе на вечер звать! Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврила Ардалионович!

Несколько времени Ганя стоял как молнией пораженный при выходе сестры; но, увидя, что Настасья Филипповна этот раз действительно уходит, как иступленный бросился на Варю и в бешенстве схватил ее за руку.

– Что ты сделала? – вскричал он, глядя на нее, как бы желая испепелить ее на этом же месте. Он решительно потерялся и плохо соображал.

– Что сделала? Куда ты меня тащишь? Уж не прощения ли просить у ней, за то, что она твою мать оскорбила и твой дом срамить приехала, низкий ты человек? – крикнула опять Варя, торжествуя и с вызовом смотря на брата.

Несколько мгновений они простояли так друг против друга, лицом к лицу. Ганя всё еще держал ее руку в своей руке. Варя дернула раз, другой, изо всей силы, но не выдержала и вдруг, вне себя, плюнула брату в лицо.

– Вот так девушка! – крикнула Настасья Филипповна. – Браво, Птицын, я вас поздравляю!

У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку.

Между ним и сестрой стоял князь.

– Полноте, довольно! – проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения.

– Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь! – заревел Ганя, бросив руку Вари, и освободившеюся рукой, в последней степени бешенства, со всего размаха дал князю пощечину.

– Ах! – всплеснул руками Коля, – ах, боже мой!

Раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Станным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза; губы его дрожали и силились что-то проговорить; какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их.

– Ну, это пусть мне... а ее... все-таки не дам!.. – тихо проговорил он наконец, но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил: – О, как вы будете стыдиться своего поступка!

Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя; за ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович.

– Ничего, ничего! – бормотал князь на все стороны, с тою же неподходящею улыбкой.

– И будет каяться! – закричал Рогожин, – будешь стыдиться, Ганька, что такую... овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!

Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так всё время не гармонизировавшее с давешним как бы напускным ее смехом, было очевидно взволновано теперь новым чувством; и, однако, все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться в лице ее.

– Право, где-то я видела его лицо! – проговорила она вдруг уже серьезно, внезапно вспомнив опять давешний свой вопрос.

– А вам и не стыдно! Разве вы такая, какую теперь представлялись. Да может ли это быть! – вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором.

Настасья Филипповна удивилась, усмехнулась, но как будто что-то пряча под свою улыбку, несколько смешавшись, взглянула на Ганю и пошла из гостиной. Но, не дойдя еще до прихожей, вдруг воротилась, быстро подошла к Нине Александровне, взяла ее руку и поднесла ее к губам своим.

– Я ведь и в самом деле не такая, он угадал, – прошептала она быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и покрасневшись, и, повернувшись, вышла на этот раз так быстро, что никто и сообщить не успел, зачем это она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то Нине Александровне и, кажется, руку ее поцеловала. Но Варя видела и слышала всё и с удивлением проводила ее глазами.

Ганя опомнился и бросился провожать Настасью Филипповну, но она уж вышла. Он догнал ее на лестнице.

– Не провожайте! – крикнула она ему. – До свидания, до вечера! Непременно же, слышите!

Он воротился смущенный, задумчивый; тяжелая загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде. Мерещился и князь... Он до того забылся, что едва разглядел, как целая рогожинская толпа валила мимо его и даже затолкала его в дверях, наскоро выбираясь из квартиры вслед за Рогожиным. Все громко, в голос, толковали о чем-то. Сам Рогожин шел с Птицыным и настойчиво твердил о чем-то важном и, по-видимому, неотлагательном.

– Проиграл, Ганька! – крикнул он, проходя мимо.

Ганя тревожно посмотрел им вслед.

XI

Князь ушел из гостиной и затворился в своей комнате. К нему тотчас же прибежал Коля утешать его. Бедный мальчик, казалось, не мог уже теперь от него отвязаться.

– Это вы хорошо, что ушли, – сказал он, – там теперь кутерьма еще пуще, чем давеча, пойдет, и каждый-то день у нас так, и все чрез эту Настасью Филипповну заварилось.

– Тут у вас много разного наболело иросло, Коля, – заметил князь.

– Да, наболело. Про нас и говорить нечего. Сами виноваты во всем. А вот у меня есть один большой друг, этот еще несчастнее. Хотите, я вас познакомлю?

– Очень хочу. Ваш товарищ?

– Да, почти как товарищ. Я вам потом это всё разьясню... А хороша Настасья Филипповна, как вы думаете? Я ведь ее никогда еще до сих пор не видывал, а ужасно старался. Просто ослепила. Я бы Ганьке всё простил, если б он по любви; да зачем он деньги берет, вот беда!

– Да, мне ваш брат не очень нравится.

– Ну, еще бы! Вам-то после... А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений. Какой-нибудь сумасшедший, или дурак, или злодей в сумасшедшем виде даст пощечину, и вот уж человек на всю жизнь обесчещен, и смыть не может иначе как кровью, или чтоб у него там на коленках прощенья просили. По-моему, это нелепо и деспотизм. На этом Лермонтова драма «Маскарад» основана, и – глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, ненатурально. Но ведь он ее почти в детстве писал.

– Мне ваша сестра очень понравилась.

– Как она в рожу-то Ганьке плюнула. Смелая Варька! А вы так не плюнули, и я уверен, что не от недостатка смелости. Да вот она и сама, легка на помине. Я знал, что она придет; она благородная, хоть и есть недостатки.

– А тебе тут нечего, – прежде всего накинулась на него Варя, – ступай к отцу. Надоедает он вам, князь?

– Совсем нет, напротив.

– Ну, старшая, пошла! Вот это-то в ней и скверно. А кстати, я ведь думал, что отец наверно с Рогожиным уедет. Кается, должно быть, теперь. Посмотреть, что с ним в самом деле, – прибавил Коля, выходя.

– Слава богу, увела и уложила маменьку, и ничего не возобновлялось. Ганя сконфужен и очень задумчив. Да и есть о чем. Каков урок!.. Я поблагодарить вас еще раз пришла и спросить, князь: вы до сих пор не знали Настасью Филипповну?

– Нет, не знал.

– С какой же вы стати сказали ей прямо в глаза, что она «не такая». И, кажется, угадали. Оказалось, что и действительно, может быть, не такая. Впрочем, я ее не разберу! Конечно, у ней была цель оскорбить, это ясно. Я и прежде о ней тоже много странного слышала. Но если она приехала нас звать, то как же она начала обходиться с мамашей? Птицын ее отлично знает, он говорит, что и угадать ее не мог давеча. А с Рогожиным? Так нельзя разговаривать, если себя уважаешь, в доме своего... Маменька тоже о вас очень беспокоится.

– Ничего! – сказал князь и махнул рукой.

– И как это она вас послушалась...

– Чего послушалась?

– Вы ей сказали, что ей стыдно, и она вдруг вся изменилась. Вы на нее влияние имеете, князь, – прибавила, чуть-чуть усмехнувшись, Варя.

Дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Ганя.

Он даже и не поколебался, увидя Варю; одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю.

– Князь, я сделал подло, простите меня, голубчик, – сказал он вдруг с сильным чувством. Черты лица его выражали сильную боль. Князь смотрел с изумлением и не тотчас ответил. – Ну, простите, ну, простите же! – нетерпеливо настаивал Ганя, – ну, хотите, я вашу руку сейчас поцелую!

Князь был поражен чрезвычайно и молча, обеими руками обнял Ганю. Оба искренно поцеловались.

– Я никак, никак не думал, что вы такой! – сказал наконец князь, с трудом переводя дух, – я думал, что вы... не способны.

– Повиниться-то?... И с чего я взял давеча, что вы идиот! Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но... лучше не говорить!

– Вот пред кем еще повинитесь, – сказал князь, указывая на Варю.

– Нет, это уж всё враги мои. Будьте уверены, князь, много проб было; здесь искренно не прощают! – горячо вырвалось у Гани, и он повернулся от Вари в сторону.

– Нет, прошу! – сказала вдруг Варя.

– И к Настасье Филипповне вечером поедешь?

– Поеду, если прикажешь, только лучше сам посуди: есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать?

– Она ведь не такая. Она видишь какие загадки загадывает! Фокусы! – и Ганя злобно засмеялся.

– Сама знаю, что не такая, и с фокусами, да с какими? И еще, смотри, Ганя, за кого она тебя сама почитает? Пусть она руку мамаше поцеловала. Пусть это какие-то фокусы, но она все-таки ведь смеялась же над тобой! Это не стоит семидесяти пяти тысяч, ей-богу, брат! Ты способен еще на благородные чувства, потому и говорю тебе. Эй, не езд и сам! Эй, берегись! Не может это хорошо уладиться!

Сказав это, вся взволнованная Варя быстро вышла из комнаты...

– Вот они всё так! – сказал Ганя, усмехаясь. – И неужели же они думают, что я этого сам не знаю? Да ведь я гораздо больше их знаю.

Сказав это, Ганя уселся на диван, видимо желая продолжить визит.

– Если знаете сами, – спросил князь довольно робко, – как же вы эту муку выбрали, зная, что она в самом деле семидесяти пяти тысяч не стоит?

– Я не про это говорю, – пробормотал Ганя, – а кстати, скажите мне, как вы думаете, я именно хочу знать ваше мнение: стоит эта «мука» семидесяти пяти тысяч или не стоит?

– По-моему, не стоит.

– Ну, уж известно. И жениться так стыдно?

– Очень стыдно.

– Ну так знайте ж, что я женюсь, и теперь уж непременно. Еще давеча колебался, а теперь уж нет! Не говорите! Я знаю, что вы хотите сказать...

– Я не о том, о чем вы думаете, а меня очень удивляет ваша чрезвычайная уверенность...

– В чем? Какая уверенность?

– В том, что Настасья Филипповна непременно пойдет за вас и что всё это уже кончено, а во-вторых, если бы даже и вышла, что семьдесят пять тысяч вам так и достанутся прямо в карман. Впрочем, я, конечно, тут многого не знаю.

Ганя сильно пошевелился в сторону князя.

– Конечно, вы всего не знаете, – сказал он, – да и с чего бы я стал всю эту обузу принимать?

– Мне кажется, что это сплошь да рядом случается: женятся на деньгах, а деньги у жены.

– Н-нет, у нас так не будет... Тут... тут есть обстоятельства... – пробормотал Ганя в тревожной задумчивости. – А что касается до ее ответа, то в нем уже нет сомнений, – прибавил он быстро. – Вы из чего заключаете, что она мне откажет?

– Я ничего не знаю, кроме того, что видел; вот и Варвара Ардалионовна говорила сейчас...

– Э! Это они так, не знают уж, что сказать. А над Рогожиным она смеялась, будьте уверены, это я разглядел. Это видно было. Я давеча побоялся, а теперь разглядел. Или, может быть, как она с матерью, и с отцом, и с Варей обошлась?

– И с вами.

– Пожалуй; но тут старинное бабье мщенье, и больше ничего. Это страшно раздражительная, мнительная и самолюбивая женщина. Точно чином обойденный чиновник! Ей хотелось показать себя и всё свое пренебрежение к ним... ну, и ко мне; это правда, я не отрицаю... А все-таки за меня выйдет. Вы и не подозреваете, на какие фокусы человеческое самолюбие способно: вот она считает меня подлецом, за то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру, а и не знает, что иной бы ее еще подлее надул: пристал бы к ней и начал бы ей либерально-прогрессивные вещи рассыпать, да из женских разных вопросов вытаскивать, так она бы вся у него в игольное ушко как нитка прошла. Уверил бы самолюбивую дуру (и так легко!), что ее за «благородство сердца и за несчастья» только берет, а сам все-таки на деньгах бы женился. Я не нравлюсь тут, потому что влиять не хочу; а надо бы. А что сама делает? Не то же ли самое? Так за что же после этого меня презирает да игры эти затевает? Оттого что я сам не сдаюсь да гордость показываю. Ну, да увидим!

– Неужели вы ее любили до этого?

– Любил вначале. Ну, да довольно... Есть женщины, которые годятся только в любовницы и больше ни во что. Я не говорю, что она была моею любовницей. Если захочет жить смирно, и я буду жить смирно; если же взбунтуется, тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу; прежде всего не хочу быть смешным.

– Мне всё кажется, – осторожно заметил князь, – что Настасья Филипповна умна. К чему ей, предчувствуя такую муку, в западню идти? Ведь могла бы и за другого выйти. Вот что мне удивительно.

– А вот тут-то и расчет! Вы тут не всё знаете, князь... тут... и кроме того, она убеждена, что я ее люблю до сумасшествия, клянусь вам, и, знаете ли, я крепко подозреваю, что и она меня любит, по-своему то есть, знаете поговорку: «Кого люблю, того и бью». Она всю жизнь будет меня за валета бубнового считать (да это-то ей, может быть, и надо) и все-таки любить по-своему; она к тому готовится, такой уж характер. Она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу; ну, а я ей свой готовлю сюрприз. Эта давешняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в пользу: она теперь видела и убедилась в моей приверженности, и что я все связи для нее разорву. Значит, и мы не дураки, будьте уверены. Кстати, уж вы не думаете ли, что я такой болтун? Я, голубчик князь, может, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь. Но именно потому, что вы первый из благородных людей мне попались, я на вас и накинусь, то есть «накинусь» не примите за каламбур. Вы за давешнее ведь не сердитесь, а? Я первый раз, может быть, в целые два года по сердцу говорю. Здесь ужасно мало честных людей: честнее Птицына нет. Что, вы, кажется, смеетесь али нет? Подлецы любят честных людей, – вы этого не знали? А я ведь... А впрочем, чем я подлец, скажите мне по совести? Что они меня все вслед за нею подлецом называют? И знаете, вслед за ними и за нею я и сам себя подлецом называю! Вот что подло, так подло!

– Я вас подлецом теперь уже никогда не буду считать, – сказал князь. – Давеча я вас уже совсем за злодея почитал, и вдруг вы меня так обрадовали, – вот и урок: не судить, не имея опыта. Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный.

Ганя язвительно про себя усмехнулся, но смолчал. Князь увидал, что отзыв его не понравился, сконфузился и тоже замолчал.

– Просил у вас отец денег? – спросил вдруг Ганя.

– Нет.

– Будет, не давайте. А ведь был даже приличный человек, я помню. Его к хорошим людям пускали. И как они скоро все кончаются, все эти старые приличные люди! Чуть только изменились обстоятельства, и нет ничего прежнего, точно порох сгорел. Он прежде так не лгал, уверяю вас; прежде он был только слишком восторженный человек, и – вот во что это разрешилось! Конечно, вино виновато. Знаете ли, что он любовницу содержит? Он уже не просто невинный лгунишка теперь стал. Понять не могу долготерпения матушки. Рассказывал он вам про осаду Карса? Или про то, как у него серая пристыжная заговорила? Он ведь до этого даже доходит.

И Ганя вдруг так и покатился со смеху.

– Что вы на меня так смотрите? – спросил он князя.

– Да я удивляюсь, что вы так искренно засмеялись. У вас, право, еще детский смех есть. Давеча вы вошли мириться и говорите: «Хотите, я вам руку поцелую», – это точно как дети бы мирились. Стало быть, еще способны же вы к таким словам и движениям. И вдруг вы начинаете читать целую лекцию об этаким мраке и об этих семидесяти пяти тысячах. Право, всё это как-то нелепо и не может быть.

– Что же вы заключить хотите из этого?

– То, что вы не легкомысленно ли поступаете слишком, не осмотреться ли вам прежде? Варвара Ардалионовна, может быть, и правду говорит.

– А, нравственность! Что я еще мальчишка, это я и сам знаю, – горячо перебил Ганя, – и уж хоть тем одним, что с вами такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду, – продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек, – по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой, и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый шюртук donating стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и всё ростовщики, а я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца – вся задача! Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал; теперь у него шестьдесят тысяч, да только после какой гимнастики! Вот эту-то я всю гимнастику и переискожу, и прямо с капитала начну; чрез пятнадцать лет скажут: «Вот Иволгин, король Иудейский». Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоили счесть, и, знаете, я вас давеча съесть за это хотел! Вы меня пуще Епанчина оскорбили, который меня считает (и без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это) способным ему жену продать! Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знайте, – я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира. Вы скажете, это всё по-детски или, пожалуй, поэзия, – что ж, тем мне же веселее будет, а дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. *Rira bien qui rira le dernier!*¹¹ Меня Епанчин почему так обижает? По злобе, что ль? Никогда-с. Просто потому, что я слишком ничтожен. Ну-с, а тогда... А однако же, довольно, и пора. Коля уже два раза нос выставлял: это он вас обедать зовет. А я со двора. Я к вам иногда забреду. Вам у нас недурно будет; теперь вас в родню прямо примут. Смотрите же, не выдавайте. Мне кажется, что мы с вами или друзьями, или врагами будем. А как вы думаете, князь, если б я давеча вам руку поцеловал (как искренно вызывался), стал бы я вам врагом за это впоследствии?

¹¹ Хорошо смеется тот, кто смеется последним! (фр.)

– Непременно стали бы, только не навсегда, потом не выдержали бы и простили, – решил князь, подумав и засмеявшись.

– Эге! Да с вами надо осторожнее. Черт знает, вы и тут яду влили. А кто знает, может быть, вы мне и враг? Кстати, ха-ха-ха! И забыл спросить: правда ли мне показалось, что вам Настасья Филипповна что-то слишком нравится, а?

– Да... нравится.

– Влюблены?

– Н-нет.

– А весь покраснел и страдает. Ну, да ничего, ничего, не буду смеяться; до свиданья. А знаете, ведь она женщина добродетельная, – можете вы этому верить? Вы думаете, она живет с тем, с Тоцким? Ни-ни! И давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловка и давеча в иные секунды конфузилась? Право. Вот этикие-то и любят властвовать. Ну, прощайте!

Ганечка вышел гораздо развязнее, чем вошел, и в хорошем расположении духа. Князь минут с десять оставался неподвижен и думал.

Коля опять просунул в дверь голову.

– Я не хочу обедать, Коля; я давеча у Епанчиных хорошо позавтракал.

Коля прошел в дверь совсем и подал князю записку. Она была от генерала, сложена и запечатана. По лицу Коли видно было, как было ему тяжело передавать. Князь прочел, встал и взял шляпу.

– Это два шага, – законфузился Коля. – Он теперь там сидит за бутылкой. И чем он там себе кредит приобрел, понять не могу? Князь, голубчик, пожалуйста, не говорите потом про меня здесь нашим, что я вам записку передал! Тысячу раз клялся этих записок не передавать, да жалко; да вот что, пожалуйста, с ним не церемоньтесь: дайте какую-нибудь мелочь, и дело с концом.

– У меня, Коля, у самого мысль была; мне вашего папашу видеть надо... по одному случаю... Пойдемте же...

XII

Коля провел князя недалеко, до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже, вход с улицы. Тут направо, в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардалион Александрович, с бутылкой пред собой на столике и в самом деле с «Independance Belge» в руках. Он ожидал князя; едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее и многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уж почти что готов.

– Десяти рублей у меня нет, – перебил князь, – а вот двадцать пять, разменяйте и сдайте мне пятнадцать, потому что я остаюсь сам без гроша.

– О, без сомнения; и будьте уверены, что это тот же час...

– Я, кроме того, к вам с одною просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?

– Я? Я не бывал? Вы это мне говорите? Несколько раз, милый мой, несколько раз! – вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. – Но я наконец прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро: я сделал всё, что мог сделать отец, – но отец кроткий и снисходительный; теперь же на сцену выйдет отец иного сорта и тогда – увидим, посмотрим: заслуженный ли старый воин одолеет интригу, или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство.

– А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо непременно сегодня же; у меня дело; но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен: сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия, и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь.

– И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой, – воскликнул генерал восторженно, – я вас не за этою мелочью звал! – продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман, – я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасье Филипповне или, лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну! Генерал Иволгин и князь Мышкин! Каково-то это ей покажется! Я же, под видом любезности в день рождения, изреку наконец свою волю, – косвенно, не прямо, но будет всё как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть: отец ли заслуженный и... так сказать... и прочее, или... Но что будет, то будет! Ваша идея в высшей степени плодотворна. В девять часов мы отправимся, у нас есть еще время.

– Где она живет?

– Отсюда далеко: у Большого театра, дом Мытовцово́й, почти тут же на площади, в бельэтаже... У ней большого собрания не будет, даром что именинница, и разойдутся рано...

Был уже давно вечер; князь всё еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку, и только чрез час ее докончил, затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец, князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда; он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасье Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал: генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии, и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло непрерывно о том, что чрез дурное поведение всех членов его семейства всё рушилось, и что этому пора наконец положить предел. Они вышли наконец на Литейную. Всё еще

продолжалась оттепель; унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам, экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами, пешеходы унылою и мокрою толпой скитались по тротуарам. Попадались пьяные.

– Видите ли вы эти освещенные бельэтажи, – говорил генерал, – здесь всё живут мои товарищи, а я, я из них наиболее отслуживший и наиболее пострадавший, я бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозрительной женщины! Человек, у которого в груди тринадцать пуль... вы не верите? А между тем единственно для меня Пирогов в Париж телеграфировал и посаженный Севастополь на время бросил, а Нелатон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал и в посаженный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно: «А, это тот Иволгин, у которого тринадцать пуль!..» Вот как говорят-с! Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в бельэтаже живет старый товарищ, генерал Соколов, с благороднейшим и многочисленным семейством. Вот этот дом, да еще три дома на Невском и два в Морской – вот весь теперешний круг моего знакомства, то есть собственно моего личного знакомства. Нина Александровна давно уже покорила обстоятельства. Я же еще продолжаю вспоминать... и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколов (а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну)... знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим. А между тем... гм... вы, кажется, не верите... Впрочем, почему же не ввести мне сына моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин! Вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже трех, украшение столицы и общества: красота, образованность, направление... женский вопрос, стихи, всё это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая по крайней мере восьмидесяти тысяч рублей приданого, чистых денег, за каждую, что никогда не мешает, ни при каких женских и социальных вопросах... одним словом, я непременно, непременно должен и обязан ввести вас. Генерал Иволгин и князь Мышкин!

– Сейчас? Теперь? Но вы забыли, – начал было князь.

– Ничего, ничего я не забыл, идем! Сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара, но... праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколов всем счастьем своей жизни и службы обязан мне, одному мне и никому иначе, но... вот мы и здесь.

Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его, в твердой надежде, что генерал Соколов и всё семейство его мало-помалу испарятся как мираж и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но, к своему ужасу, он стал терять эту надежду: генерал взводил его по лестнице, как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда, уже взойдя в бельэтаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика, князь решился окончательно убежать; но одно странное обстоятельство остановило его на минуту:

– Вы ошиблись, генерал, – сказал он, – на дверях написано Кулаков, а вы звоните к Соколову.

– Кулаков... Кулаков ничего не доказывает. Квартира Соколова, и я звоню к Соколову; наплевать на Кулакова... Да вот и отворяют.

Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что «господ дома нет-с».

– Как жаль, как жаль, и как нарочно! – с глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ардалион Александрович. – Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели...

В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дамы лет сорока, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина.

– Марья Александровны нет дома, – проговорила она, особенно вглядываясь в генерала, – уехали с барышней, с Александрой Михайловной, к бабушке.

– И Александра Михайловна с ними, о боже, какое несчастье! И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье! Покорнейше прошу вас передать мой поклон, а Александре Михайловне, чтобы припомнили... одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг, вечером, при звуках баллады Шопена; они помнят... Мое сердечное пожелание! Генерал Иволгин и князь Мышкин!

– Не забуду-с, – откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал, еще с неостывшим жаром, продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства.

– Знаете, мой милый, я несколько поэт в душе, – заметили вы это? А впрочем... впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили, – заключил он вдруг совершенно неожиданно, – Соколовичи, я теперь вспомнил, в другом доме живут и даже, кажется, теперь в Москве. Да, я несколько ошибся, но это... ничего.

– Я только об одном хотел бы знать, – уныло заметил князь, – совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать и уж не отправиться ли мне одному?

– Перестать? Рассчитывать? Одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так много зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит «Иволгин», тот говорит «стена»: надейся на Иволгина как на стену, вот как говорили еще в эскадроне, с которого начал я службу. Мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя, вот уже несколько лет, после тревог и испытаний...

– Вы хотите зайти домой?

– Нет! Я хочу... к капитанше Терентьевой, вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного... и даже друга... Здесь, у капитанши, я возрождаюсь духом, и сюда несу мои житейские и семейные горести... И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я...

– Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость, – пробормотал князь, – что давеча вас потревожил. К тому же вы теперь... Прощайте!

– Но я не могу, не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой! – вскинулся генерал. – Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней, – это пять минут, в этом доме я без церемонии, я тут почти что живу, умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда на извозчике мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер... Вот в этом доме, мы уже и пришли... А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома, или ты сам только что пришел?

– О нет, – отвечал Коля, как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома, – я здесь давным-давно, с Ипполитом, ему хуже, сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только, папаша, ух как вы!.. – заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. – Ну уж, пойдемте!

Встреча с Колей побудила князя сопровождать генерала и к Марфе Борисовне, но только на одну минуту. Князю нужен был Коля; генерала же он во всяком случае решил бросить и простить себе не мог, что вздумал давеча на него понадеяться. Взирались долго, в четвертый этаж, и по черной лестнице.

– Князя познакомить хотите? – спросил Коля дорогой.

– Да, друг мой, познакомить: генерал Иволгин и князь Мышкин, но что... как... Марфа Борисовна...

– Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить! Съест! Третий день носа не кажете, а она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вы так! Теперь и разделявайтесь.

В четвертом этаже остановились пред низенькою дверью. Генерал видимо робел и совал вперед князя.

– А я останусь здесь, – бормотал он, – я хочу сделать сюрприз...

Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная, в туфлях, в куцавейке и с волосами, заплетенными в косички, лет сорока, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала:

– Вот он, низкий и эхидный человек, так и ждало мое сердце!

– Войдемте, это так, – бормотал генерал князю, всё еще невинно отсмеиваясь.

Но это не было так. Едва только вошли они чрез темную и низенькую переднюю, в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных стульев и двумя ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно-плачевным и обычным голосом:

– И не стыдно, не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер! Ограбил меня всю, соки высосал и тем еще недоволен! Доколе переносить я тебя буду, бесстыдный и бесчестный ты человек!

– Марфа Борисовна, Марфа Борисовна! Это... князь Мышкин. Генерал Иволгин и князь Мышкин, – бормотал трепетавший и потерявшийся генерал.

– Верите ли вы, – вдруг обратилась капитанша к князю, – верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей! Всё ограбил, всё перетаскал, всё продал и заложил, ничего не оставил. Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце: чем, чем я накормлю моих сиротских детей? Вот появляется пьяный и на ногах не стоит... Чем прогневала я господа бога, гнусный и безобразный хитрец, отвечай?

Но генералу было не до того.

– Марфа Борисовна, двадцать пять рублей... все, что могу помощью благороднейшего друга. Князь! Я жестоко ошибся! Такова... жизнь... А теперь... извините, я слаб, – продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны, – я слаб, извините! Леночка! подушку... милая!

Леночка, восьмилетняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободраный диван. Генерал сел на него, с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился набок, повернулся к стене и заснул сном праведника. Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ломберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу, все трое положили на стол руки, и все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля.

– Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля, – обратился к нему князь, – не можете ли вы мне помочь? – Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею: у Большого театра, дом Мытовцовой.

– Настасья-то Филипповна? Да она никогда и не жила у Большого театра, а отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать; странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у Пяти Углов, это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь половина десятого. Извольте, я вас доведу.

Князь и Коля тотчас же вышли. Увы! Князю не на что было взять и извозчика, надо было идти пешком.

– Я бы хотел вас познакомить с Ипполитом, – сказал Коля, – он старший сын этой куцавешной капитанши и был в другой комнате; нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный; он ужасно обидчивый, и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту... Мне все-таки не так совестно, как ему, потому что у меня отец, а у него мать, тут все-таки разница, потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. А впрочем, это, может быть, предрассудок насчет predominирования в этом случае полов. Ипполит великолепный малый, но он раб иных предрассудков.

– Вы говорите, у него чахотка?

– Да, кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть. Ему братьев и сестер жалко, вот этих маленьких-то. Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что, когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился, говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен, я с ним и спорить уже перестал. Так вот как, вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе?

– То-то и есть, что нет.

– Как же вы идете? – воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара, – и... и в таком платье, а там званый вечер?

– Уж, ей-богу, не знаю, как я войду. Примут – хорошо, нет – значит, дело манкировано. А насчет платья – что ж тут делать?

– А у вас дело? Или вы так только, *pour passer le temps*¹² в «благородном обществе»?

– Нет, я, собственно... то есть, я по делу... мне трудно это выразить, но...

– Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно, а мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер, в очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей, так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь, а они все требуют уважения; Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы! И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как это так всё устроилось – не понимаю. Кажется, уж как крепко стояло, а что теперь? Это все говорят и везде пишут. Обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон, в Москве, родитель уговаривал сына ни *перед чем* не отступать для добывания денег; печатно известно. Посмотрите на моего генерала. Ну что из него вышло? А впрочем, знаете что, мне кажется, что мой генерал честный человек; ей-богу, так! Это только всё беспорядок да вино. Ей-богу, так! Даже жалко; я только боюсь говорить, потому что все смеются; а ей-богу, жалко. И что в них, в умных-то? Все ростовщики, все сплошь до единого! Ипполит ростовщичество оправдывает, говорит, что так и нужно, экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы, черт их дери. Мне ужасно это досадно от него, но он озлоблен. Вообразите, его мать, капитанша-то, деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает; ужасно стыдно! А знаете, что мамаша, моя то есть мамаша, Нина Александровна, генеральша, Ипполиту деньгами, платьем, бельем и всем помогает, и даже детям отчасти, чрез Ипполита, потому что они у ней заброшены. И Варя тоже.

– Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных, и что все только ростовщики; вот и явились сильные люди, ваша мать и Варя. Разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы?

– Варька из самолюбия делает, из хвастовства, чтоб от матери не отстать; ну, а мамаша действительно... я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже Ипполит чувствует, а он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся и называл это со стороны мамыши низостью;

¹² чтобы провести время (фр.).

но теперь начинает иногда чувствовать. Гм! Так вы это называете силой? Я это замечу. Ганя не знает, а то бы назвал потворством.

– А Ганя не знает? Ганя многого еще, кажется, не знает, – вырвалось у задумавшегося князя.

– А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давешний ваш случай у меня из ума нейдет.

– Да и вы мне очень нравитесь, Коля.

– Послушайте, как вы намерены жить здесь? Я скоро достану себе занятий и буду кое-что добывать, давайте жить, я, вы и Ипполит, все трое вместе, наймемте квартиру; а генерала будем принимать к себе.

– Я с величайшим удовольствием. Но мы, впрочем, увидим. Я теперь очень... очень расстроен. Что? Уж пришли? В этом доме... какой великолепный подъезд! И швейцар. Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет.

Князь стоял как потерянный.

– Завтра расскажете! Не робейте очень-то. Дай вам бог успеха, потому что я сам ваших убеждений во всем! Прощайте. Я обратно туда же и расскажу Ипполиту. А что вас примут, в этом и сомнения нет, не опасайтесь! Она ужасно оригинальная. По этой лестнице в первом этаже, швейцар укажет!

XIII

Князь очень беспокоился всходя и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большое, – думал он, – будет то, что не примут и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза... Э, ничего!» И действительно, это еще не очень пугало; но вопрос: «Что же он там сделает и зачем идет?» – на этот вопрос он решительно не находил успокоительного ответа. Если бы даже и можно было каким-нибудь образом, уловив случай, сказать Настасье Филипповне: «Не выходите за этого человека и не губите себя, он вас не любит, а любит ваши деньги, он мне сам это говорил, и мне говорила Аглая Епанчина, а я пришел вам пересказать», – то вряд ли это вышло бы правильно во всех отношениях. Представлялся и еще один неразрешенный вопрос, и до того капитальный, что князь даже думать о нем боялся, даже допустить его не мог и не смел, формулировать как, не знал, краснел и трепетал при одной мысли о нем. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну.

Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. В эти пять лет ее петербургской жизни было одно время, вначале, когда Афанасий Иванович особенно не жалел для нее денег; он еще рассчитывал тогда на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью, зная, как легко прививаются привычки роскоши и как трудно потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в необходимость. В этом случае Тоцкий пребывал верен старым добрым преданиям, не изменяя в них ничего, безгранично уважая всю непобедимую силу чувственных влияний. Настасья Филипповна от роскоши не отказывалась, даже любила ее, но – и это казалось чрезвычайно странным – никак не поддавалась ей, точно всегда могла и без нее обойтись; даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражало Тоцкого. Впрочем, многое было в Настасье Филипповне, что неприятно (а впоследствии даже до презрения) поражало Афанасия Ивановича. Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а стало быть, и склонна была приближать, проглядывали в ней и еще некоторые совершенно странные наклонности: заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых и существование нельзя бы, кажется, было допустить человеку порядочному и тонко развитому. В самом деле, если бы, говоря к примеру, Настасья Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и всё воспитание Настасьи Филипповны, по программе Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек; но, увы! результаты оказались странные. Несмотря, однако ж, на то, все-таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенною и увлекательною оригинальностью, какою-то силой, и прельщало его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на Настасью Филипповну.

Князя встретила девушка (прислуга у Настасьи Филипповны постоянно была женская) и, к удивлению его, выслушала его просьбу доложить о нем безо всякого недоумения. Ни грязные сапоги его, ни широкополая шляпа, ни плащ без рукавов, ни сконфуженный вид не произвели в ней ни малейшего колебания. Она сняла с него плащ, пригласила подождать в приемной и тотчас же отправилась о нем докладывать.

Общество, собравшееся у Настасьи Филипповны, состояло из самых обыкновенных и всегдашних ее знакомых. Было даже довольно малоллюдно, сравнительно с прежними годичными собраниями в такие же дни. Присутствовали, во-первых и в главных, Афанасий Иванович Тоцкий и Иван Федорович Епанчин; оба были любезны, но оба были в некотором зата-

енном беспокойстве по поводу худо скрываемого ожидания обещанного объявления насчет Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя, – тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем «нелюбезный», большею частию стоявший в стороне, поодаль, и молчавший. Варю он привезти не решился, но Настасья Филипповна и не упоминала о ней; зато, только что поздоровалась с Ганей, припомнила о давешней его сцене с князем. Генерал, еще не слышавший о ней, стал интересоваться. Тогда Ганя сухо, сдержанно, но совершенно откровенно рассказал все, что давеча произошло, и как он уже ходил к князю просить извинения. При этом он горячо высказал свое мнение, что князя весьма странно и бог знает с чего называли идиотом, что он думает о нем совершенно напротив, и что, уж конечно, этот человек себе на уме. Настасья Филипповна выслушала этот отзыв с большим вниманием и любопытно следила за Ганей, но разговор тотчас же перешел на Рогожина, так капитально участвовавшего в утешной истории и которым тоже с чрезвычайным любопытством стали интересоваться Афанасий Иванович и Иван Федорович. Оказалось, что особенные сведения о Рогожине мог сообщить Птицын, который бился с ним по его делам чуть не до девяти часов вечера. Рогожин настаивал изо всех сил, чтобы достать сегодня же сто тысяч рублей. «Он, правда, был пьян, – заметил при этом Птицын, – но сто тысяч, как это ни трудно, ему, кажется, достанут, только не знаю, сегодня ли, и все ли; а работают многие: Киндер, Трепалов, Бискуп; проценты дает какие угодно, конечно, всё спьяну и с первой радости...» – заключил Птицын. Все эти известия были приняты с интересом, отчасти мрачным; Настасья Филипповна молчала, видимо не желая высказываться; Ганя тоже. Генерал Епанчин беспокоился про себя чуть не пуще всех: жемчуг, представленный им еще утром, был принят с любезностью слишком холодной, и даже с какою-то особенною усмешкой. Один Фердыщенко состоял из всех гостей в развеселом и праздничном расположении духа и громко хохотал иногда неизвестно чему, да и то потому только, что сам навязал на себя роль шута. Сам Афанасий Иванович, слышавший за тонкого и изящного рассказчика, а в прежнее время на этих вечерах обыкновенно управлявший разговором, был видимо не в духе и даже в каком-то несвойственном ему замешательстве. Остальные гости, которых было, впрочем, немного (один жалкий старичок учитель, бог знает для чего приглашенный, какой-то неизвестный и очень молодой человек, ужасно робевший и все время молчавший, одна бойкая дама, лет сорока, из актрис, и одна чрезвычайно красивая, чрезвычайно хорошо и богато одетая и необыкновенно неразговорчивая молодая дама), не только не могли особенно оживить разговор, но даже и просто иногда не знали, о чем говорить.

Таким образом, появление князя произошло даже кстати. Возвращение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасьи Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Но после удивления Настасья Филипповна выказала вдруг столько удовольствия, что большинство тотчас же приготовилось встретить нечаянного гостя и смехом, и весельем.

– Это, положим, произошло по его невинности, – заключил Иван Федорович Епанчин, – и во всяком случае поощрять такие наклонности довольно опасно, но в настоящую минуту, право, недурно, что он вздумал пожаловать, хотя бы и таким оригинальным манером: он, может быть, и повеселит нас, сколько я о нем по крайней мере могу судить.

– Тем более что сам напросился! – тотчас включил Фердыщенко.

– Так что ж из того? – сухо спросил генерал, ненавидевший Фердыщенка.

– А то, что заплатит за вход, – пояснил тот.

– Ну, князь Мышкин не Фердыщенко все-таки-с, – не утерпел генерал, до сих пор не могший помириться с мыслью находиться с Фердыщенком в одном обществе и на равной ноге.

– Эй, генерал, щадите Фердыщенка, – ответил тот, ухмыляясь. – Я ведь на особых правах.

– На каких это вы на особых правах?

– Прошлый раз я имел честь подробно разъяснить это обществу; для вашего превосходительства повторю еще раз. Извольте видеть, ваше превосходительство: у всех остроумие, а

у меня нет остроумия. В вознаграждение я и выпросил позволение говорить правду, так как всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия. К тому же я человек очень мстительный, и тоже потому, что без остроумия. Я обиду всякую покорно сношу, но до первой неудачи обидчика; при первой же неудаче тотчас припоминаю и тотчас же чем-нибудь отомщаю, лягаю, как выразился обо мне Иван Петрович Птицын, который, уж конечно, сам никогда никого не лягает. Знаете Крылова басню, ваше превосходительство: «Лев да Осел»? Ну, вот это мы оба с вами и есть, про нас и написано.

– Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко, – вскипел генерал.

– Да вы чего, ваше превосходительство? – подхватил Фердыщенко, так и рассчитывавший, что можно будет подхватить и еще побольше размазать. – Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я свое место знаю: если я и сказал, что мы с вами Лев да Осел из Крылова басни, то роль Осла я, уж конечно, беру на себя, а ваше превосходительство – Лев, как и в басне Крылова сказано:

Могучий Лев, гроза лесов,
От старости лишился силы.

А я, ваше превосходительство, – Осел.

– С последним я согласен, – неосторожно вырвалось у генерала.

Всё это было, конечно, грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенко позволялось играть роль шута.

– Да меня для того только и держат, и пускают сюда, – воскликнул раз Фердыщенко, – чтоб я именно говорил в этом духе. Ну возможно ли в самом деле такого, как я, принимать? Ведь я понимаю же это. Ну можно ли меня, такого Фердыщенко, с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? Поневоле остается одно толкование: для того и сажают, что это и вообразить невозможно.

Но хоть и грубо, а все-таки бывало и едко, а иногда даже очень, и это-то, кажется, и нравилось Настасье Филипповне. Желаящим непременно бывать у нее оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого разу стал своим присутствием невозможен для Тоцкого. Ганя, с своей стороны, вынес от него целую бесконечность мучений, и в этом отношении Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне.

– А князь у меня с того и начнет, что модный романс споет, – заключил Фердыщенко, посматривая, что скажет Настасья Филипповна.

– Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не горячитесь, – сухо заметила она.

– А-а! Если он под особым покровительством, то смягчаюсь и я...

Но Настасья Филипповна встала, не слушая, и пошла сама встретить князя.

– Я сожалела, – сказала она, появляясь вдруг перед князем, – что давеча, впопыхах, забыла пригласить вас к себе, и очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость.

Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок.

Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением, спеша, прошептал ей:

– В вас всё совершенство... даже то, что вы худы и бледны... вас и не желаешь представить иначе... Мне так захотелось к вам прийти... я... простите...

– Не просите прощения, – засмеялась Настасья Филипповна, – этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да?

– Да.

– Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напому...

Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тоцкий тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживилось, все разом заговорило и засмеялось. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.

– Но, однако, что же удивительного в появлении князя? – закричал громче всех Фердыщенко. – Дело ясное, дело само за себя говорит!

– Дело слишком ясное и слишком за себя говорит, – подхватил вдруг молчавший Ганя. – Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет Настасьи Филипповны, на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще давеча о том подумал, в чем теперь убежден совершенно, и в чем, мимоходом сказать, князь мне сам признался.

Всю эту фразу Ганя высказал чрезвычайно серьезно, без малейшей шутливости, даже мрачно, что показалось несколько странным.

– Я не делал вам признаний, – ответил князь, покраснев, – я только ответил на ваш вопрос.

– Браво, браво! – закричал Фердыщенко. – По крайней мере искренно; и хитро, и искренно!

Все громко смеялись.

– Да не кричите, Фердыщенко, – с отвращением заметил ему вполголоса Птицын.

– Я, князь, от вас таких пружесов не ожидал, – промолвил Иван Федорович. – Да знаете ли, кому это будет впору? А я-то вас считал за философа! Ай да тихонький!

– И судя по тому, что князь краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица, я заключаю, что он, как благородный юноша, питает в своем сердце самые похвальные намерения, – вдруг и совершенно неожиданно проговорил или, лучше сказать, прошамкал беззубый и совершенно до сих пор молчавший семидесятилетний старичок учитель, от которого никто не мог ожидать, что он хоть заговорит-то в этот вечер. Все еще больше засмеялись. Старичок, вероятно подумавший, что смеются его остроумию, принялся, глядя на всех, еще пуще смеяться, причем жестоко раскашлялся, так что Настасья Филипповна, чрезвычайно любившая почему-то всех подобных оригиналов старичков, старушек и даже юродивых, принялась тотчас же ласкать его, расцеловала и велела подать ему еще чаю. У вошедшей служанки она спросила себе мантилью, в которую и закуталась, и приказала прибавить еще дров в камин. На вопрос, который час, служанка ответила, что уже половина одиннадцатого.

– Господа, не хотите ли пить шампанское, – пригласила вдруг Настасья Филипповна. – У меня приготовлено. Может быть, вам станет веселее. Пожалуйста, без церемонии.

Предложение пить, и особенно в таких наивных выражениях, показалось очень странным от Настасьи Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Вообще вечер становился веселее, но не по-обычному. От вина, однако, не отказались, во-первых, сам генерал, во-вторых, бойкая барыня, старичок, Фердыщенко, за ними и все. Тоцкий взял тоже свой бокал, надеясь угармонировать наступающий новый тон, придав ему по возможности характер милой шутки. Один только Ганя ничего не пил. В странных же, иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет три бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливою и даже угрюмою задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь. Одни подозревали в ней лихорадку; стали наконец замечать, что и она как бы ждет чего-то сама, часто поглядывает на часы, становится нетерпеливою, рассеянною.

– У вас как будто маленькая лихорадка? – спросила бойкая барыня.

– Даже большая, а не маленькая, я для того и в мантилью закуталась, – ответила Настасья Филипповна, в самом деле ставшая бледнее и как будто по временам сдерживавшая в себе сильную дрожь.

Все затревожились и зашевелились.

– А не дать ли нам хозяйке покой? – высказался Тоцкий, посматривая на Ивана Федоровича.

– Отнюдь нет, господа! Я именно прошу вас сидеть. Ваше присутствие особенно сегодня для меня необходимо, – настойчиво и значительно объявила вдруг Настасья Филипповна. И так как почти уже все гости узнали, что в этот вечер назначено быть очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генерал и Тоцкий еще раз переглянулись, Ганя судорожно шевельнулся.

– Хорошо в пети-жё какое-нибудь играть, – сказала бойкая барыня.

– Я знаю одно великолепнейшее и новое пети-жё, – подхватил Фердыщенко, – по крайней мере такое, что однажды только и происходило на свете, да и то не удалось.

– Что такое? – спросила бойкая барыня.

– Нас однажды компания собралась, ну, и подписали это, правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух, но такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!

– Странная мысль, – сказал генерал.

– Да уж чего страннее, ваше превосходительство, да тем-то и хорошо.

– Смешная мысль, – сказал Тоцкий, – а впрочем, понятная: хвастовство особого рода.

– Может, того-то и надо было, Афанасий Иванович.

– Да этак заплачешь, а не засмеешься, с таким пети-жё, – заметила бойкая барыня.

– Вещь совершенно невозможная и нелепая, – отозвался Птицын.

– А удалось? – спросила Настасья Филипповна.

– То-то и есть что нет, вышло скверно, всяк действительно кое-что рассказал, многие правду, и представьте себе, ведь даже с удовольствием иные рассказывали, а потом всякому стыдно стало, не выдержали! В целом, впрочем, было превесело, в своем то есть роде.

– А право, это бы хорошо! – заметила Настасья Филипповна, вдруг вся оживляясь. – Право бы, попробовать, господа! В самом деле, нам как-то невесело. Если бы каждый из нас согласился что-нибудь рассказать... в этом роде... разумеется, по согласию, тут полная воля, а? Может, мы выдержим! По крайней мере ужасно оригинально...

– Гениальная мысль! – подхватил Фердыщенко. – Барыни, впрочем, исключаются, начинают мужчины; дело устроивается по жребию, как и тогда! Непременно, непременно! Кто очень не хочет, тот, разумеется, не рассказывает, но ведь надо же быть особенно нелюбезным! Давайте ваши жеребьи, господа, сюда, ко мне, в шляпу, князь будет вынимать. Задача самая простая, самый дурной поступок из всей своей жизни рассказать, – это ужасно легко, господа! Вот вы увидите! Если же кто позабудет, то я тотчас берусь напомнить!

Идея никому не нравилась. Одни хмурились, другие лукаво улыбались. Некоторые возражали, но не очень, например Иван Федорович, не желавший перечить Настасье Филипповне и заметивший, как увлекает ее эта странная мысль. В желаниях своих Настасья Филипповна всегда была неудержима и беспощадна, если только решалась высказывать их, хотя бы это были самые капризные и даже для нее самой бесполезные желания. И теперь она была как в истерике, суежилась, смеялась судорожно, припадочно, особенно на возражения встревоженного Тоцкого. Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красные пятна. Унылый и брезгливый оттенок физиономий некоторых из гостей, может быть, еще более разжигал

ее насмешливое желание; может быть, ей именно нравилась циничность и жестокость идеи. Иные даже уверены были, что у ней тут какой-нибудь особый расчет. Впрочем, стали соглашаться: во всяком случае, было любопытно, а для многих так очень заманчиво. Фердыщенко суетился более всех.

– А если что-нибудь такое, что и рассказать невозможно... при дамах, – робко заметил молчавший юноша.

– Так вы это и не рассказывайте; будто мало и без того скверных поступков, – ответил Фердыщенко, – эх вы, юноша!

– А я вот и не знаю, который из моих поступков самым дурным считать, – включила бойкая барыня.

– Дамы от обязанности рассказывать увольняются, – повторил Фердыщенко, – но только увольняются; собственное вдохновение с признательностью допускается. Мужчины же, если уж слишком не хотят, увольняются.

– Да как тут доказать, что я не солгу? – спросил Ганя. – А если солгу, то вся мысль игры пропадает. И кто же не солжет? Всякий непременно лгать станет.

– Да уж одно то заманчиво, как тут будет лгать человек. Тебе же, Ганечка, особенно опасаться нечего, что солжешь, потому что самый скверный поступок твой и без того всем известен. Да вы подумайте только, господа, – воскликнул вдруг в каком-то вдохновении Фердыщенко, – подумайте только, какими глазами мы потом друг на друга будем глядеть, завтра например, после рассказов-то!

– Да разве это возможно? Неужели это в самом деле серьезно, Настасья Филипповна? – с достоинством спросил Тоцкий.

– Волка бояться – в лес не ходить! – с усмешкой заметила Настасья Филипповна.

– Но позвольте, господин Фердыщенко, разве возможно устроить из этого пети-жэ? – продолжал, тревожась всё более и более, Тоцкий. – Уверяю вас, что такие вещи никогда не удаются; вы же сами говорите, что это не удалось уже раз.

– Как не удалось! Я рассказал же прошедший раз, как три целковых украл, так-таки взял да и рассказал!

– Положим. Но ведь возможности не было, чтобы вы так рассказали, что стало похоже на правду и вам поверили? А Гаврила Ардалионович совершенно справедливо заметил, что чуть-чуть пошлышится фальшь, и вся мысль игры пропадает. Правда возможна тут только случайно, при особого рода хвастливом настроении слишком дурного тона, здесь немислимом и совершенно неприличном.

– Но какой же вы утонченнейший человек, Афанасий Иванович, так даже меня дивите! – вскричал Фердыщенко. – Представьте себе, господа, своим замечанием, что я не мог рассказать о моем воровстве так, чтобы стало похоже на правду, Афанасий Иванович тончайшим образом намекает, что я и не мог в самом деле украсть (потому что это вслух говорить неприлично), хотя, может быть, совершенно уверен сам про себя, что Фердыщенко и очень бы мог украсть! Но к делу, господа, к делу, жеребьи собраны, да и вы, Афанасий Иванович, свой положили, стало быть, никто не отказывается! Князь, вынимайте.

Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий – Фердыщенка, второй – Птицына, третий – генерала, четвертый – Афанасия Ивановича, пятый – свой, шестой – Гани и т. д. Дамы жребиев не положили.

– О боже, какое несчастье! – вскричал Фердыщенко. – А я-то думал, что первая очередь выйдет князю, а вторая – генералу. Но, слава богу, по крайней мере Иван Петрович после меня, и я буду вознагражден. Ну, господа, конечно, я обязан подать благородный пример, но всего более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен; даже чин на мне самый премаленький; ну, что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал

скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут *embarras de richesse*.¹³ Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтоб убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть, воров не бывши.

– Вы меня убеждаете и в том, господин Фердыщенко, что действительно можно ощущать удовольствие до упоения, рассказывая о сальных своих поступках, хотя бы о них и не спрашивали... А впрочем... Извините, господин Фердыщенко.

– Начинайте, Фердыщенко, вы ужасно много болтаете лишнего и никогда не dokonчите! – раздражительно и нетерпеливо приказала Настасья Филипповна.

Все заметили, что после своего недавнего припадочного смеха она вдруг стала даже угрюма, брюзглива и раздражительна; тем не менее упрямо и деспотично стояла на своей невозможной прихоти. Афанасий Иванович страдал ужасно. Бесил его и Иван Федорович: он сидел за шампанским как ни в чем не бывало и даже, может быть, рассчитывал рассказать что-нибудь, в свою очередь.

¹³ преизбыток (фр.).

XIV

– Остроумия нет, Настасья Филипповна, оттого и болтаю лишнее! – вскричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. – Было б у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или у Ивана Петровича, так я бы сегодня всё сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот всё кажется, что на свете гораздо больше воров, чем неворов, и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что всё сплошь одни воры, хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?

– Фу, как вы глупо рассказываете, – отозвалась Дарья Алексеевна, – и какой вздор, не может быть, чтобы все что-нибудь да украли; я никогда ничего не украла.

– Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна; но что скажет князь, который вдруг весь покраснел?

– Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете, – сказал князь, действительно от чего-то покрасневший.

– А вы сами, князь, ничего не украли?

– Фу! как это смешно! Опомнитесь, господин Фердыщенко, – вступился генерал.

– Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать, вот и хотите князя с собой же прицепить, благо он безответный, – отчеканила Дарья Алексеевна.

– Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите и знайте одного себя. Вы истощаете всякое терпение, – резко и досадливо проговорила Настасья Филипповна.

– Сию минуту, Настасья Филипповна; но уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь всё равно что сознался, то что же бы, например, сказал другой кто-нибудь (никого не называя), если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается до меня, господа, то дальше и рассказывать совсем нечего: очень просто, и глупо, и скверно. Но уверяю вас, что я не вор; украл же, не знаю как. Это было третьего года, на даче у Семена Ивановича Ищенка, в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу чрез угловую комнату, на рабочем столике у Марьи Ивановны три рубля лежат, зеленая бумажка: вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никомовенько. Я взял бумажку и положил в карман, для чего – не знаю. Что на меня нашло – не понимаю. Только я поскорей воротился и сел за стол. Я всё сидел и ждал, в довольно сильном волнении, болтал без умолку, анекдоты рассказывал, смеялся; подсел потом к барыням. Чрез полчаса примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью-служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие, и помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтоб она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны, и это вслух, и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно оттого, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти три целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту; никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего; захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз наверное не повторил бы; этому верьте, или нет, как угодно, я не интересуюсь. Ну-с, вот и всё.

– Только уж, конечно, это не самый худший ваш поступок, – с отвращением сказала Дарья Алексеевна.

– Это психологический случай, а не поступок, – заметил Афанасий Иванович.

– А служанка? – спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения.

– А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом.

– И вы допустили?

– Вот прекрасно! Так неужели же мне было пойти и сказать на себя? – захихикал Фердыщенко, впрочем, пораженный отчасти общим, слишком неприятным впечатлением от его рассказа.

– Как это грязно! – вскричала Настасья Филипповна.

– Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете! Самые скверные поступки и всегда очень грязны, мы сейчас это от Ивана Петровича услышим; да и мало ли что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли кто свою карету имеет... И какими способами...

Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился, даже до забвения себя, перешел чрез мерку; даже всё лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти «промахи» дурного тона и «хвастовство особого рода», как выразился об этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенко и были совершенно в его характере.

Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенко; тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга: слишком далеко уж зашел.

– А не кончить ли совсем? – лукаво спросил Афанасий Иванович.

– Очередь моя, но я пользуюсь моею льготой и не стану рассказывать, – решительно сказал Птицын.

– Вы не хотите?

– Не могу, Настасья Филипповна; да и вообще считаю такое пети-жё невозможным.

– Генерал, кажется, по очереди следует вам, – обратилась к нему Настасья Филипповна, – если и вы откажетесь, то у нас всё вслед за вами расстроится, и мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключение один поступок «из моей собственной жизни», но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить, – заключила она, рассмеявшись.

– О, если и вы обещаетесь, – с жаром вскричал генерал, – то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать; но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот...

– И уже по одному виду его превосходительства можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик, – осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовито улыбаясь.

Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались в ней всё сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался вдвое, услышав про обещание рассказа.

– Мне, господа, как и всякому, случалось делать поступки не совсем изящные в моей жизни, – начал генерал, – но страннее всего то, что я сам считаю коротенький анекдот, который сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем тому прошло чуть не тридцать пять лет; но никогда-то я не мог оторваться, при воспоминании, от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое: был я тогда еще только что прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известно, прапорщик: кровь – кипятик, а хозяйство копеечное; завелся у меня тогда денщик, Никифор, и ужасно о хозяйстве моем заботился, копил, зашивал, скреб и чистил, и даже везде воровал всё, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить; вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштадте квартиру у одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет восьмидесяти, или по крайней мере около, была старушонка. Домишко у ней был ветхий, дрянной, деревянный, и даже служанки у себя не имела по бедности. Но главное, тем отличалась, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных; но одни в течение жизни перемерли, другие

разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет сорок пять тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет пред этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма, и даже раз старуху укусила за палец, но и та померла, так что старуха года уж три пробивалась одна-одинёшенька. Скучнехонько мне было у ней, да и пустая она такая была, ничего извлечь невозможно. Наконец, украла у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но, кроме нее, было некому. За петуха мы поссорились, и значительно, а тут как раз вышел случай, что меня, по первой же просьбе моей, на другую квартиру перевели, в противоположный форштадт, в многочисленное семейство одного купца с большою бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху же оставляем с негодованием. Проходят дня три, прихожу с ученья, Никифор докладывает, «что напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать». Я, разумеется, поражен: «Как так, каким образом наша миска у хозяйки осталась?» Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что так как я ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость с ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ; кровь закипела, вскочил, полетел. Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя; гляжу, она сидит в сенцах одна-одинёшенька, в углу, точно от солнца забилась, рукой щеку себе подперла. Я тотчас же, знаете, на нее целый гром так и вывалил, «такая, дескать, ты и сякая!» и знаете, этак по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное: сидит она, лицо на меня уставило, глаза выпучила, и ни слова в ответ, и странно, странно так смотрит, как бы качается. Я наконец приутих, вглядываюсь, спрашиваю, ни слова в ответ. Я постоял в нерешимости; мухи жужжат, солнце закатывается, тишина; в совершенном смущении я наконец ухожу. Еще до дому не дошел, к майору потребовали, потом пришлось в роту зайти, так что домой воротился совсем ввечеру. Первым словом Никифора: «А знаете, ваше благородие, хозяйка-то наша ведь померла». – «Когда?» – «Да сегодня повечеру, часа полтора назад». Это, значит, в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила. Так меня это фразировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то чтоб, а так иногда вообразишь, и станет нехорошо. Главное, что тут, как я наконец рассудил? Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время, гуманное, жила, долго жила, наконец, зажила. Когда-то имела детей, мужа, семейство, родных, всё это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг – полный пас, всё в трубу вылетело, осталась одна как... муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел бог к концу. С закатом солнца, в тихий летний вечер, улетает и моя старуха, – конечно, тут не без нравоучительной мысли; и вот в это-то самое мгновение, вместо напутственной, так сказать, слезы, молодой, отчаянный прапорщик, избоченясь и фертом, провожает ее с поверхности земли русским элементом забубенных ругательств за погибшую миску! Без сомнения, я виноват, и хоть и смотрю уже давным-давно на свой поступок, по отдаленности лет и по изменению в натуре, как на чужой, но тем не менее продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно, тем более что если я и виновен, то ведь не совершенно же: зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание: что поступок в некотором роде психологический, но все-таки я не мог успокоиться, покамест не завел, лет пятнадцать назад, двух постоянных больных старушенок, на свой счет, в богадельне, с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю обратить в вековечное, завещав капитал. Ну, вот-с и всё-с. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю, по совести, самым сквернейшим поступком из всей моей жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.